

Оноре де Бальзак

Сельский врач



Перевод с французского
Анны Худадовой

ФТМ



Сельский врач

Оноре де Бальзак

Аннотация
Оноре де Бальзак. Сельский врач
Глава I. Край и человек
Глава II. В полях
Глава III. Наполеон народа
Глава IV. Исповедь сельского врача
Глава V. Элегии

Аннотация

В романе нашла себе место положительная социально-политическая программа, которая, по убеждению Бальзака, должна была оздоровить буржуазную Францию. Выразителем социально-политических идеалов Бальзака в этом романе является сельский врач Бенаси, стремящийся использовать борьбу частных интересов на благо обществу, ограничив хищничество богачей при помощи церкви и религиозного воспитания.

Оноре де Бальзак
Сельский врач

Сердцам разбитым – мрак и тишина.

Моей матери

Глава I
Край и человек

Погожим весенним днем 1829 года человек лет пятидесяти ехал верхом по крутой дороге, направляясь к большому селению, расположенному неподалеку от Гранд-Шартрез. Селение это — центр многолюдного кантона, протянувшегося по долине горной речки с каменистым, часто пересыхающим руслом. В ту пору, наполнившись вешними водами, она бежала бурным потоком по долине, стиснутой двумя кряжами, вставшими друг против друга, а над ними со всех сторон вздымались вершины Савойи и Дофине. Хотя ландшафты между цепями обеих Морьен и схожи, но нигде не найти такого разнообразия местности, такой игры света и теней, как в том краю, по которому проезжал незнакомец. То вдруг долина расширяется, и вы в любое время года видите неровный ковер сочной, пленяющей взгляд зелени, вспоенной горными ручьями; то выглянет водяная лесопильня, мелькнут ее убогие, но живописно разбросанные постройки, склады ободранных еловых стволов и проток,

отведенных от бурливого ручья в широкие деревянные желоба, сквозь щели которых пеленой выбиваются струйки воды. Лачуги, разбросанные там и сям, потонули в цветущих плодовых садах и наводят на мысль о трудолюбивой бедности. А поодаль домики под красной кровлей из плоской круглой черепицы, похожей на рыбью чешую, говорят о достатке, приобретенном долголетним трудом. Над дверьми висят плетенки, в них сушатся сыры. Куда ни взглянешь — виноградные лозы, как в Италии, опутали изгороди и заборы, обвили невысокие вязы, листва которых идет на корм скоту. В иных местах холмы по прихоти природы сошлись так близко, что между ними не поместиться ни промышленному строению, ни пашне, ни хижине. Лишь река, шумя водопадами, разделяет две гранитных стены, уходящие ввысь и поросшие елью с темной хвоей и кедром, высотою в сто футов. Деревья эти — стройные, причудливо расцвеченные пятнами мха, разнолистые, встают величавыми колоннадами по обеим сторонам дороги, украшенной пестрой оторочкою из толокнянки, калины, букса, розового шиповника. Свежее благоухание кустарника смешивалось с терпким ароматом горных цветов и пряным запахом молодых по-

бегов лиственницы, тополя и смолистой сосны. Облака пробегали между скал и то заволакивали, то обнажали дымчатые вершины, кое-где такие же воздушные, как тучки, пышные хлопья которых рвались об их уступы. То и дело менялись виды, менялось освещение; горы меняли цвет, склоны — оттенки, долы — очертания, и всякий неожиданный штрих — луч солнца, пробившийся меж стволами, естественная лужайка, обломок скалы — придавал веренице этих картин особую прелесть средь тишины уединенного уголка, в то время года, когда все молодо, когда солнце озаряет чистые небеса. Словом, то был прекрасный край, то была Франция!

Путешественник, человек рослый, был в синей суконной одежде, вычищенной так же тщательно, как, должно быть, чистили по утрам его лоснившегося коня, на котором он сидел будто влитой, как сидят старые кавалерийские офицеры. Если бы черный галстук, замшевые перчатки, пистолеты в кобурах и вьюк, крепко притороченный к седлу, не изобличали в нем военного, то кажущаяся беспечность, которою дышало его смуглое лицо, рябоватое, но с правильными чертами, решительные движения, твердый взгляд и посадка головы — все гово-

рило о военных навыках, ибо от них никогда не отделаться солдату, даже вернувшемуся к домашнему очагу. Всякий на его месте был бы очарован красотами горной природы, особенно радующей взгляд там, где горы сочетаются с большими речными долинами Франции, но офицеру, разумеется, довелось побывать во всех тех странах, куда только ни заносили наполеоновские войны французскую армию, и потому он любовался пейзажем, ничуть не изумляясь его разнообразию. Очевидно, Наполеон искоренил в душе солдата чувство удивления. Поэтому-то невозмутимое выражение лица является безошибочным признаком, по которому наблюдатель узнает людей, некогда соединенных в полки под недолговечными и все же нетленными знаменами великого императора. Путешественник в самом деле был одним из тех вояк — ныне их увидишь не часто, — которых пощадила пуля, хотя они и участвовали во всех наполеоновских походах. Впрочем, ничего примечательного в его жизни не было. Он храбро сражался, как подобает простому и честному солдату, выполнял свой долг и днем и ночью, и вблизи, и вдали от императора, метко разил саблей, однако зря не наносил ни одного удара. В петлице у него кра-

совалась розетка ордена Почетного легиона, но лишь потому, что после битвы под Москвой весь полк в один голос признал его всех достойней ордена в тот памятный день. Он принадлежал к тем редкостным, сдержанным, застенчивым людям, не ведающим душевного разлада, которых унижает даже мысль, что можно хлопотать о себе, и он повышался в чинах медленно, согласно закону о выслуге лет. В 1802 году его произвели в лейтенанты, а командиром эскадрона он стал, несмотря на седые усы, только в 1829 году; однако жизнь его была столь безупречна, что каждый, будь то даже генерал, невольно испытывал при встрече с ним чувство уважения, и этого неоспоримого превосходства, конечно, не прощали ему вышестоящие. Зато простые солдаты, все без исключения, выказывали ему чувство, похожее на то, какое питают дети к доброй матери, потому что относился он к ним снисходительно и в то же время строго. Сам он был прежде таким же солдатом, как они, знал их горькое веселье и веселые горести, проступки, извиняемые или наказуемые, называл солдат не иначе, как своими «ребятами», и позволял им в походе отбирать фураж и снедь у горожан. Личная его жизнь была окутана тайной. Он, как почти все вояки тех

времен, видел мир лишь сквозь пороховой дым или же в минуты затишья, редко выпадавшие посреди войн, которые вел император со всей Европой. Думал ли он когда-нибудь о женитьбе? Никто не мог ответить на этот вопрос. Разумеется, Женеста одерживал победы над женщинами, кочуя из города в город, из края в край, бывая на всех празднествах, устраиваемых полком или в честь полка, однако достоверно об этом не было известно. Добродетельным он не притворялся, от веселых пирушек не отказывался, полковых нравов не задевал, но отмалчивался или отшучивался, когда ему задавали вопрос о его любовных похождениях. Бывало, какой-нибудь офицер спросит его на пирушке: «Ну, а вы, Женеста?», а он отвечает: «Выпьем-ка, господа!»

Словом, в г-не Пьере-Жозефе Женеста, — своего рода Байарде, но без его блеска, — не было ничего поэтического, ничего романтического, настолько он казался человеком заурядным. Весь его вид как будто свидетельствовал о достатке, хоть жалованье и было всем его богатством, а будущее его зависело от пенсии. Наш командир эскадрона, под стать тем старым торговым волкам, которые вынесли из неудач житейскую опытность и осмотрительность, никогда не расходовал жало-

вания целиком и скопил про запас двухгодичный оклад. Карты он недолюбливал, и, когда в компании искали, кем бы заменить выбывшего игрока или кого еще вовлечь в экартэ, он прикидывался, будто его это не касается. Он не позволял себе ничего лишнего, но не отказывал себе в необходимом. Мундир служил ему дольше, чем другим офицерам полка, потому что аккуратность, которую порождает скромное состояние, вошла у него в привычку. Можно было бы заподозрить его в скаредности, когда бы он с таким удивительным бескорыстием, с такой сердечностью не открывал кошелек молодому вертопраху, дотла проигравшемуся в карты или разоренному сумасбродством другого рода. Вероятно, ему самому случилось потерять в игре изрядное состояние, — с такой готовностью давал он взаймы; он полагал, что судить поступки должника у него нет права, и никогда не напоминал о возврате денег. Для него, детища полка, одинокого как перст, армия была отчим домом, а полк — семьей. Поэтому мало кто доискивался, в чем же таится причина его бережливости, она внушала уважение, ее охотно приписывали вполне естественному желанию скопить побольше на старость. Женеста предстояло получить чин подполковника, и все

предполагали, что его честолюбивые стремления сводятся к тому, чтобы выйти на пенсию с полковничьими эполетами и поселиться где-нибудь в глуши. Молодые офицеры, судача о Женеста после маневров, утверждали, что он принадлежит к той породе людей, которые в училище получают первые награды и на всю жизнь остаются честными, исполнительными, не ведающими страстей, полезными и пресными, как белый хлеб, но люди вдумчивые были о нем другого мнения. Подчас взгляд или же замечание, полное горького смысла, какими обычно бывают слова нелюдима, вырывались у него, свидетельствуя о душевных бурях. Вы понимали, глядя на его спокойное лицо, что он умеет обуздывать страсти и таить их в глубине сердца, — а это умение завоевано дорогой ценой, привычкой к опасностям и грозным случайностям войны. Однажды сын какого-то пэра Франции, новичок в полку, сказал, что из Женеста вышел бы добросовестнейший священник и честнейший лавочник в мире.

— Добавьте — и не умеющий подлаживаться маркиз, — вставил Женеста, смерив глазами хлыща, который не ожидал, что начальник услышит его. Окружающие расхохотались: отец лейтенанта, известный пролаза, подделывался ко всем

властям и во время государственных переворотов всегда всплывал на поверхность, а сын смахивал на папашу. Во французской армии встречались люди типа Женеста: в деле они бывали даже велики, а затем вновь становились скромнейшими людьми, за славой не гнались, забывали об опасности; пожалуй, они встречались гораздо чаще, нежели то позволяют предполагать недостатки человеческой природы. Однако вы бы ошиблись, подумав, что Женеста был человек безупречный. Он отличался подозрительностью, вспыльчивостью, был придирчивым спорщиком и вечно хотел доказать свою правоту, даже если заблуждался, и был полон национальных предрассудков. От времен солдатской службы у него сохранилось пристрастие к крепким напиткам. Когда он бывал в парадном мундире и при всех регалиях, то выходил из-за стола с важным, сосредоточенным и неприступным видом. Он довольно сносно знал светские правила и законы вежливости, как некую инструкцию, которую считал нужным соблюдать с военной точностью, был наделен природным умом и здравым смыслом, недурно разбирался в тактике, стратегии, теории фехтования верхом и в трудностях ветеринарного дела, зато образование его было

запущено невероятно. Он помнил, но смутно, что Цезарь был не то консулом, не то римским императором; Александр — не то греком, не то македонцем; но без спора согласился бы и на то и на другое происхождение или звание. Когда при нем беседовали на исторические или научные темы, он напускал на себя важность и ограничивался легкими, одобрительными кивками, как и надлежит человеку глубокомысленному, достигшему высот скептицизма.

Когда Наполеон 13 мая 1809 года написал в Шенбрунне обращение к французской армии, занявшей Вену, обращение, в котором говорилось, что «австрийские принцы, подобно Медее, собственными руками задушили своих детей», Женеста, только что произведенный в капитаны, не пожелал посрамить свой высокий чин вопросом, кто же такая Медея. Он положился на наполеоновскую гениальность, а так как был убежден, что императору подобало говорить с французской армией и австрийским двором лишь на языке официальном, то решил, что Медея была какая-нибудь эрцгерцогиня сомнительного поведения. Но поскольку Медея, упомянутая в обращении, могла иметь нечто общее с военным искусством, он не оставлял о ней мысли до того

дня, пока мадмуазель Рокур[1] не возобновила «Медеи». Капитан прочел афишу и в тот же вечер отправился во Французскую комедию, чтобы увидеть знаменитую актрису в роли мифологической героини, о которой осведомился у соседей. Однако если он, в бытность свою простым солдатом, проявил достаточно настойчивости, чтобы научиться читать, писать и считать, то, став капитаном, он, разумеется, понял, что ему надлежит заняться своим образованием. Поэтому он с жаром принялся читать романы и новые книги, приносившие ему обрывки знаний, которыми он умело пользовался. В благодарности к своим учителям он доходил до того, что брал под защиту Пиго-Лебрена[2], говоря, что находит его поучительным и даже большим психологом.

Офицер этот, которому осторожность и житейская мудрость не позволяли предпринять ни одного бесполезного шага, только что выехал из Гренобля и держал путь в Гранд-Шартрез, испросив накануне у командира полка недельный

---

[1] Примечания: 1

Мадмуазель Рокур Франсуаза — французская трагическая актриса.

[2] Примечания: 2

Пиго-Лебрен — псевдоним Гийома Пиго де л'Эпинуа (1753–1835) — французский писатель, автор эротических романов, запрещенных в период Империи.

отпуск. Он не рассчитывал на длинный перегон, но его все время сбивали с толку путаные указания крестьян, которых он расспрашивал о дороге, и он решил сначала подкрепить силы, а потом уже двигаться дальше. Вряд ли застанешь дома хозяйку в страдную пору, однако он все же остановился перед хижинами, которые окружали пустошь, принадлежащую общине, образуя четырехугольную площадь, неровно очерченную и открытую для любого странника. Земля на этом общинном владении была укатана и чисто выметена, но в ней были прорыты ямы для навоза. Кусты роз, плющ и высокая трава прильнули к растрескавшимся стенам домишек. Между двумя домишками торчал чахлый смородиновый куст, на нем сушилось тряпье. На куче соломы развалился боров, первый обитатель, на которого наткнулся Женеста; заслышав стук копыт, боров хрюкнул, поднял рыло и спугнул большого черного кота. Показалась молодая крестьянка с охапкой травы на голове, а вслед за ней четверо мальчишек в лохмотьях и все же резвых, шумливых, быстроглазых, миловидных, загорелых, — сущие бесенята, смахивающие на ангелов. Солнце сверкало, и от этого словно чище становился воздух, лачуги, навозные кучи и

гурьба вихрастых ребятишек. Путешественник спросил, нельзя ли достать кружку молока. Вместо ответа девушка кого-то окликнула хриплым голосом. На пороге хижины появилась пожилая женщина, а девушка прошла в хлев, указав пальцем на старуху, к которой и направился Женеста, сдерживая лошадь, чтобы не смять детей, — они уже шныряли вокруг. Он повторил просьбу, но женщина отказала наотрез: кто станет снимать сливки с молока, оставленные на масло! В ответ на это офицер пообещал как следует заплатить за убыток; он привязал лошадь к столбу у ворот и вошел в хижину.

Четверо хозяйских мальчишек по виду были однолетками; это странное обстоятельство поразило приезжего. Был еще и пятый сын у крестьянки — он вцепился в ее юбку; хилый, бледный заморыш требовал, разумеется, усиленных забот, а значит, он был дороже других, был любимчиком.

Женеста уселся у высокого, нетопленного очага, над которым стояла на полке статуэтка божьей матери из разрисованного гипса, с младенцем Иисусом на руках. Прекрасный символ! Пол в лачуге был земляной, утрамбованный самым первобытным способом; этот пол, хоть и чисто

выметенный, со временем покрылся выбоинками и был весь в бугорках, словно апельсиновая корка. Возле очага висели деревянный башмак, наполненный солью, сковородка и котел. Напротив входной двери стояла кровать с пологом и фестончатым подзором. Топорные трехногие табуретки, с сиденьем из буковой доски, хлебный ларь, большой деревянный ковш для воды, ведро и глиняные горшки для молока, на ларе — прялка, несколько плетенок для сыра, потемневшие стены, дверь, источенная червями, с зарешеченным оконцем над притолкой, — вот как было устроено и обставлено неказистое жилище. Теперь расскажем о сцене, свидетелем которой оказался офицер, от нечего делать стегавший по полу хлыстом, не подозревая, что перед ним разыгрывается своего рода драма. Когда старуха со своим золотушным любимчиком, ходившим за ней по пятам, скрылась за дверью, которая вела в погреб, четверо ребят, вдоволь насмотревшись на офицера, принялись выгонять борова. Стоило животному, с которым они обычно играли, показаться на пороге лачуги, как мальчишки рьяно накинулись на него и надавали ему таких увесистых тумаков, что борову пришлось стремглав убраться. Выставив врага, дети пошли штурмом

на дверцу в чулан; щеколда, поддавшись натиску, выскочила из ветхой скобы, они ворвались в хранилище плодов, и Женеста, с любопытством наблюдавший за этой сценкой, увидел, что они сейчас же набросились на сушеные сливы. Тут иссохшая, одетая в рубище старуха внесла кувшин молока для гостя.

— Ах вы негодники! — закричала она.

Старуха бросилась к мальчишкам и одного за другим вытащила из чулана, но слив не отобрала, а только тщательно замкнула дверь в свою сокровищницу.

— Ну, ну, ребятки, будьте же умниками. Не углядишь за ними, они все сливы и поедят. Этакие ведь сорванцы! — прибавила она, глянув на Женеста.

Она уселась на табуретку и, притянув к себе золотушного мальчугана, с проворством и материнской заботливостью стала расчесывать ему волосы, смачивая их водой. А четверо воришек, сопливых, грязных и вопреки всему здоровых, кто, прислонившись к стене, кто — к кровати или ларю, молча жевали сливы и бросали исподлобья лукавые взгляды на незнакомца.

— Дети-то — ваши? — спросил офицер у старухи.

— Прошу прощенья, сударь, приютские. За каждого мне всякий месяц дают по три франка и по фунту мыла.

— Полноте, матушка, они вам наверняка обходятся раза в два дороже!

— Об этом нам и господин Бенаси толкует, да ежели другие берут детей за ту же цену, то нам и подавно приходится. Думаете, легко заполучить детей? Все пороги обобьешь сначала. Считайте, что молоком мы их поим даром, да ведь оно и нам почти ничего не стоит. Ну, а ведь три франка, сударь, — деньги. Вот тебе пятнадцать франков словно с неба упали, не считая пяти фунтов мыла. А как бьешься в наших краях, покуда заработаешь десять су в день!

— У вас есть своя земля? — спросил Женеста.

— Нет, сударь. Была земля, пока жив был покойник, а как умер, такая нужда забрала, что пришлось продать.

— Да как же вы умудряетесь, не задолжав, дотянуть до конца года? — удивился Женеста. — Ведь вы за эти гроши и стираете на детей, и кормите их, и присматриваете за ними.

— То-то и есть, господин хороший, — подтвердила она, продолжая причесывать золотушного малыша, — Без долгов до нового года не дотя-

нешь. Да, сами видите, господь помогает. У меня две коровы. Летом, в жатву, мы с дочкой подбираем колосья; зимой ходим в лес за валежником, по вечерам прядем. Только вот, не дай бог еще такой зимы, как в прошлом году. Семьдесят пять франков мельнику за муку задолжала. К счастью, мельник-то арендатор господина Бенаси… Господин Бенаси — вот кто друг бедняку! Долгов он еще ни с кого не требовал и с нас наверняка не начнет. К тому же корова у нас отелилась, чуть полегче будет обернуться.

Четверо сирот, которые видели любовь и заботу только от этой старой крестьянки, покончили со сливами. Они воспользовались тем, что их приемная мать, разговаривая, не сводит глаз с офицера, и сомкнутым строем собрались еще разок сбить щеколду с двери в чулан, где хранились сливы. Их подстрекало ребяческое необузданное желание полакомиться. Шли они не так, как идут на приступ французские солдаты, а молчаливо, как немцы.

— Вот ведь сорванцы! Да угомонитесь вы или нет?

Старуха встала, схватила самого рослого, шлепнула его и вытолкала за дверь; он и не подумал заплакать, остальные же притихли.

— Трудно вам с ними приходится!..

— Да нет, сударь, ведь они несмышленые: почуяли сливы, а не доглядишь за ними — мигом объедятся.

— Любите вы их?

При этом вопросе старуха подняла голову, с усмешкой взглянула на офицера и ответила:

— Как же не любить! Троих уж вернула, — прибавила она со вздохом, — живут-то они у меня только до шести лет.

— А свой-то у вас есть?

— Схоронила.

— Да сколько вам лет? — спросил Женеста, чтобы сгладить впечатление от вопроса.

— Тридцать восемь, сударь. Вот на Иванов день минет два года, как муж у меня умер.

Она наконец одела золотушного малыша, и он, казалось, поблагодарил ее тусклым, но любящим взглядом.

«Вся ее жизнь — самоотверженность и труд», — подумал Женеста.

Под этой кровлей, достойной яслей, где родился Иисус Христос, женщина, не унывая, несла самые тяжелые материнские обязанности. Какие сердца погребены в глубочайшем забвенье! Какое богатство и какая нищета! Солдат лучше

других оценит величие в деревянных башмаках, Евангелие в отрепьях. В иных местах найдешь книгу Священного писания, переплетенную в муар, шелк, атлас, с разъясненным, дополненным, комментированным текстом, а тут поистине был воплощен самый дух Священного писания. Как не уверовать в высшие предначертания провидения, глядя на женщину, которая, став матерью брошенным детям, как стал человеком Христос, подбирала колосья, мучилась, должала, обсчитывала себя и не желала признаваться, что нищает, выполняя долг материнства. При взгляде на эту женщину нельзя было не признать, что есть какое-то родство между душами, творящими добро в этом мире, и духами небесными; потому-то офицер и смотрел на нее, покачивая головой.

— А что, господин Бенаси — хороший врач? — спросил он наконец.

— Не знаю, сударь, но он лечит бедняков даром.

— Да, видно, он добрый человек, — задумчиво заметил Женеста.

— Уж такой добрый, сударь! Недаром всякий у нас утром и вечером поминает его в своих молитвах.

— Вот это вам, матушка, — сказал Женеста,

протягивая несколько монет. — А это детям, — продолжал он, прибавляя экю. — Далеко ли до дома господина Бенаси? — спросил он, вскочив на коня.

— Нет, что вы, одно лье, не больше.

Офицер уехал в полной уверенности, что ему придется проехать еще самое малое два лье. Однако вскоре сквозь деревья замелькали дома у околицы, а потом показались деревенские кровли, теснившиеся вокруг высокой конической колокольни, — на солнце сверкали жестяные полосы, скрепляющие по углам ее шиферную крышу. В таких крышах есть что-то самобытное, они свидетельствуют о том, что близка граница Савойи, где их встречаешь на каждом шагу. Долина здесь расширяется. Уютные домики, разбросанные по небольшой равнине и вдоль реки, придают много прелести хорошо возделанной местности, — со всех сторон ее обступили горы, и кажется, будто выбраться отсюда невозможно. Не доехав до селения, расположенного по южному склону плоскогорья, Женеста осадил лошадь в вязовой аллее перед целой оравой мальчишек и спросил, где дом господина Бенаси. Дети стали переглядываться и рассматривать незнакомца — так изучают они все, что впервые попадается им

на глаза: сколько любопытства в каждом лице, сколько разнообразных мыслей! Немного погодя самый шустрый босоногий мальчишка, с живыми, озорными глазами, повторил за офицером, по привычке, свойственной детям:

— Дом господина Бенаси, сударь? — И добавил: — Сейчас проведу.

Он зашагал впереди лошади, то ли желая похвастаться, что указывает дорогу приезжему, то ли из детской услужливости, а быть может, просто повинуясь той настоятельной потребности в движении, которая в этом возрасте управляет и душой и телом. Женеста ехал по главной улице селения — улице каменистой, извилистой, окаймленной домами, — видно было, что ставили эти дома как кому заблагорассудится. Тут пристройка с печью вылезла прямо на середину дороги, там островерхий домишко выступил боком и чуть не загородил часть ее, а подальше горный ручеек изрыл ее канавками. Женеста увидел кровли, крытые потемневшей дранкой, еще больше крыш соломенных, несколько черепичных и семь-восемь шиферных — разумеется, над домами кюре, мирового судьи и местных богачей. Это была настоящая глушь, деревня как будто стояла на краю света, ни с чем не связанная,

всему чуждая, точно жители ее составляли одну семью, оказавшуюся вне социального движения, с которым их соединяли лишь самые неприметные нити да сборщик податей.

Женеста проехал еще несколько шагов и увидел на горе широкую улицу, проходившую выше деревни. Очевидно, существовало старое и новое селение. И в самом деле, когда офицер пустил лошадь помедленнее, он рассмотрел в узком просвете прочно построенные дома, новые крыши которых пестрели над старой деревней. Из новых домов, с улицы, обсаженной молодыми деревьями, до него донеслось пение — так поет за работой ремесленный люд, — и слитный шум мастерских: глухое жужжание станков, визг напильников, стук молотов. Он заметил жидкий дымок, подымавшийся из труб над домашними очагами, дым погуще — над горнами тележника, слесаря, кузнеца. А за деревней, куда вел его проводник, Женеста увидел фермы, разбросанные тут и там, хорошо возделанные поля, ровные ряды насаждений — словом, уголок наподобие Бри, затерявшийся в глубокой складке земной коры; с первого взгляда нельзя было и подумать, что он существует между этим селением и заслонившими его горами. Тут мальчуган остановился

и сказал:

— Вот его дом.

Офицер спрыгнул с коня и накинул повод на руку, затем, решив, что всякий труд заслуживает оплаты, вынул из кармана несколько су и протянул их мальчугану, который взял деньги, удивленно вытаращив глаза, не поблагодарил и остался поглядеть, что будет дальше.

«Цивилизация в этом крае развилась мало, уважение к труду велико, а нищенство еще сюда не проникло», — подумал Женеста.

Проводник Женеста с бескорыстным любопытством смотрел ему вслед, прислонившись к невысокой ограде двора, в которую по обеим сторонам ворот была вделана почерневшая деревянная решетка.

На воротах, глухих внизу и некогда выкрашенных в серый цвет, торчали поверху желтые прутья, заточенные копьями. Концы этого облупившегося украшения образовали полумесяц над каждой створкой, а когда ворота затворялись, средние прутья сходились наподобие аляповатой сосновой шишки. Замшелые, источенные червем ворота почти истлели под действием солнца и дождя. Столбы ворот, увенчанные столетником и плющом — их занесло сюда случайно, — заслони-

ли стволы двух «гладких» акаций, зеленые кроны которых похожи на пуховки. Ворота разваливались, а это говорило о беззаботности хозяина, что, очевидно, пришлось не по душе офицеру: он нахмурился, как человек, вынужденный отрешиться от каких-то иллюзий. Мы привыкли судить о людях по себе и, снисходительно прощая им наши слабости, строго осуждаем за то, что у них нет наших достоинств. Офицеру хотелось, чтобы г-н Бенаси был домовитым, безукоризненным хозяином, а между тем ворота дома свидетельствовали о полном его безразличии к собственности. Рачительный и бережливый солдат, каким был Женеста, сразу же по одному виду ворот мог вывести заключение о жизни и нраве незнакомца, что он, несмотря на всю свою осмотрительность, и не преминул сделать. Ворота были полуоткрыты — какая беспечность! Женеста воспользовался сельской доверчивостью, без всяких церемоний вошел во двор, привязал лошадь к прутьям решетки, и, когда он затягивал узел, из конюшни донеслось ржание; офицер и его конь повернули головы: двери конюшни растворились, и на пороге показался старый батрак в красном шерстяном колпаке, как две капли воды схожем с фригийским, в котором принято

изображать Свободу, — такие колпаки все носят в этих краях. В конюшне хватило бы места для нескольких лошадей, и старик, осведомившись у Женеста, не к господину ли Бенаси он пожаловал, предложил приютить его коня, ласково и восхищенно глядя на великолепного жеребца. Офицер пошел вслед за конем, взглянуть, хорошо ли ему будет в конюшне. Там было чисто, подстилки — вдоволь, и у обеих лошадей Бенаси был сытый вид, по которому всегда распознаешь лошадей кюре. Из дому на крыльцо вышла служанка и, казалось, ждала, чтобы незнакомец, как полагается, обратился к ней с вопросом, но он уже узнал от батрака, что г-на Бенаси нет дома.

— Хозяин ушел на мельницу, — объяснил старик, — хотите застать его там, ступайте по тропке, что ведет к лугам: в мельницу и упретесь.

Женеста предпочел познакомиться с местностью, чем ждать прихода Бенаси, и отправился по дороге к мельнице. Когда он вышел за околицу селения, разбросанного по косогору, взгляду его представилась долина, мельница — словом, один из самых чарующих пейзажей, какие ему доводилось видеть.

Река подступала к подножию гор и здесь разливалась небольшим озером, над ним уступами

поднимались вершины, и по тому, как менялись оттенки освещения, как местами ярко, а местами тускло виднелись гребни, поросшие темными елями, можно было угадать, что меж горами пролегли бесчисленные долины. Мельница, недавно выстроенная на берегу озера, казалась уютным уединенным домиком, приютившимся у воды, под сенью прибрежных деревьев. За рекой, у самого подножия горы, вершину которой в этот час слабо озаряли багряные лучи заходящего солнца, Женеста увидел с дюжину покинутых лачуг без окон и дверей; в обветшалых кровлях зияли дыры; вокруг раскинулись прекрасно обработанные, засеянные поля; огороды заняты были теперь под луга, — их орошали каналы, проведенные не менее искусно, чем в Лимузене. Офицер невольно остановился и посмотрел на развалины деревни.

Отчего глубокое душевное волнение охватывает нас, когда мы смотрим на развалины жилищ, пусть самых невзрачных? Нет сомнения, они для человека — воплощение несчастий, и при виде руин каждый испытывает гнетущее ощущение. Кладбища наводят на размышления о смерти, покинутая деревня — на думы о тяготах жизни; смерть — несчастье, которое мы предвидим

заранее, тяготы жизни — беспредельны. А беспредельность навевает глубокую печаль. Так и не поняв, отчего деревня покинута, Женеста вышел по каменистой дороге к мельнице и осведомился у работника, сидевшего около двери на куче мешков с зерном, тут ли Бенаси.

— Господин Бенаси пошел вон туда, — сказал парень, показывая на развалившуюся лачугу.

— Видно, деревня погорела? — спросил офицер.

— Нет, сударь!

— Отчего же она такая? — продолжал Женеста.

— Отчего? — повторил парень, пожимая плечами и входя в дом. — Это уж пусть вам растолкует господин Бенаси.

Офицер перешел по мосту, сложенному из больших валунов, меж которыми пробивался поток, и скоро очутился у дома, указанного работником. Соломенная крыша лачуги держалась прочно и была еще совсем цела, хоть и поросла мхом, окна и двери с виду были в хорошем состоянии. Женеста вошел в хижину и увидел у очага, в котором горел огонь, больного, сидевшего на стуле, а перед ним — пожилую женщину, стоявшую на коленях, и мужчину, повернувшегося лицом к очагу. В хижине была всего лишь одна комната, свет падал

из крохотного оконца, завешенного холстиной. Пол был земляной. А всю обстановку составляли стул, стол и прескверная кровать. Женеста никогда не видел такого убожества, такой бедности даже в России, где крестьянские избы напоминали землянки. Тут не было признака домашней утвари, не было никакой посуды для варки хотя бы самой простой пищи. Комната смахивала на собачью конуру, только миски недоставало. Если бы не постель и не одежда больного — отрепья, висевшие на гвозде, да деревянные башмаки, выложенные внутри соломой, — казалось бы, что хижина, как и остальные дома в деревне, необитаема. Старая крестьянка, опустившись на колени, старалась погрузить ноги больного в лохань, наполненную мутной водой. Услышав шаги и позвякивание шпор, необычное для слуха, привыкшего к однообразной поступи деревенских жителей, мужчина, стоявший у огня, обернулся к Женеста с изумлением, которое выразилось и на лице старухи.

— Незачем спрашивать — вы ли господин Бенаси, — сказал офицер. — Сударь, извините приезжего: я не стал ждать вас дома, нетерпение привело меня к вам на поле битвы. Не беспокойтесь, продолжайте свое дело. Когда

вы освободитесь, я расскажу о причине своего приезда.

Женеста присел на край стола и умолк. От огня в лачуге было светлее, чем от солнца: горные вершины дробили его лучи, и они никогда не попадали в этот уголок долины. В очаге ярким пламенем горели смолистые еловые ветви, и в отблесках огня офицер разглядел лицо человека, посетить которого, узнать и до конца разгадать заставляло его тайное побуждение. Г-н Бенаси — местный врач — все стоял, скрестив руки; он бесстрастно выслушал Женеста, ответил на его поклон и снова повернулся к больному, не подозревая, что его самого внимательно изучает приезжий офицер.

Роста Бенаси был среднего, но широк в плечах и в груди. Просторный зеленый сюртук, застегнутый наглухо, не позволял офицеру подметить характерные особенности его сложения; он стоял неподвижно, фигура его была в тени, но тем ярче выделялась голова, озаренная отсветом пламени. Лицо доктора напоминало лицо сатира: высокий чуть покатый лоб, с выразительными буграми, широкие скулы, вздернутый нос, раздвоенный на конце, что обличало остроту ума. Линия рта была извилистая, губы — полные и красные.

Резко выдавался подбородок. Карие глаза с живым взглядом, сверкавшие особенно ярко оттого, что белок отливал перламутром, говорили об укрощенных страстях. Волосы прежде черные, а теперь седые, глубокие морщины, густые, тоже поседевшие, брови, прожилки на носу, желтизна, багровые пятна на щеках — все свидетельствовало о пятидесятилетнем возрасте врача и о его тяжком труде. Голову прикрывал картуз, и о ее форме можно было лишь догадываться, но все же офицер подумал, что именно о такой голове и говорится — «дельная голова». Женеста привык общаться с людьми решительными, каких выискивал Наполеон, и по чертам лица распознавать человека, предназначенного для больших дел, и тут, угадав в неведомой ему жизни Бенаси какую-то тайну, подумал, всматриваясь в его примечательный облик: «Почему он остался сельским врачом?» Пристально рассмотрев это лицо, которое, невзирая на сходство с самыми обычными человеческими физиономиями, носило печать сложного внутреннего мира, противоречившего заурядной внешности, Женеста последовал примеру доктора и обратил внимание на больного, а тогда ход его размышлений сразу изменился.

Немало довелось перевидать старому кавалеристу за его боевую жизнь, но сейчас он почувствовал изумление и какой-то ужас, взглянув на лицо, никогда, должно быть, не озарявшееся мыслью, — лицо мертвенно-бледное, выражавшее одно только безмолвное страдание, как личико ребенка, который говорить еще не умеет, а кричать больше не может, — словом, тупое лицо старого умирающего кретина. Кретин был единственной разновидностью человеческой породы, какой еще не приходилось наблюдать командиру эскадрона. И в самом деле, стоило только взглянуть на лоб с дряблой, отвисшей кожей, глаза, напоминающие глаза вареной рыбы, на голову, покрытую короткими, редкими волосками, вылезавшими от недостатка питания, сплюснутую голову, неспособную что-либо воспринять, и всякий на месте Женеста ощутил бы невольное отвращение к существу, которое не было наделено ни красотою зверя, ни духовным миром человека, которое никогда не обладало ни разумом, ни инстинктом и не ведало даже подобия речи. Казалось, трудно было проникнуться жалостью к обездоленному существу, кончавшему мучительное прозябание, ибо нельзя назвать это жизнью, однако старуха глядела на него с

трогательным беспокойством и так заботливо растирала его икры, словно кретин был ее мужем. А доктор Бенаси, вглядевшись в застывшее лицо, в тусклые глаза умирающего, ласково взял его за руку и пощупал пульс.

— Ванна не действует, — сказал он, покачав головой, — уложим-ка его обратно.

Он сам поднял этот мешок с костями, перенес на кровать, откуда, очевидно, извлек перед этим, бережно выпрямил холодеющие ноги, уложил руки и голову с заботливостью, какую проявляет мать к своему больному ребенку.

— Все кончено, он сейчас умрет, — прибавил Бенаси, не отходя от кровати. Старуха, по щекам которой катились слезы, смотрела на умирающего, упершись руками в бока. Молчал и Женеста, не в силах объяснить себе, почему смерть никому не нужного существа производит на него такое сильное впечатление. И его тоже охватила бесконечная жалость, какую питают к этим бедным созданиям в тех краях, куда забросила их судьба, в долинах, лишенных солнца. В семьях, где есть кретины, чувство это, переродившееся в религиозное суеверие, исходит из прекраснейшей христианской добродетели — милосердия и из веры, столь полезной для общественного поряд-

ка, из представления о грядущих воздаяниях, а это единственное, что примиряет нас с земными горестями. Надежда заслужить вечное блаженство побуждает и родственников несчастных, и всех окружающих расточать самые теплые заботы, самоотверженно оказывать помощь безмозглому существу, которое сначала не понимает этих забот, а потом их забывает. Замечательное вероучение! В силу его слепое милосердие идет рука об руку со слепым страданьем. Население тех мест, где живут кретины, верит, что они приносят семье счастье. Благодаря этой вере отрадной становится жизнь того, кто в городах был бы осужден на ханжескую и жестокую благотворительность, на больничную дисциплину. В верховьях Изера кретины, а там их очень много, живут под открытым небом, вместе со стадами, которые они приучены пасти. Там они по крайней мере на воле и к ним относятся с уважением, как того и заслуживает несчастье.

Вдали, через ровные промежутки, раздавались удары деревенского колокола, звон его оповещал верующих о смерти одного из их братьев. Божественный призыв пролетал пространство, замирая, доносился в хижину и разливал там тихую печаль. Послышался шум шагов — по до-

роге двигалась толпа, толпа молчаливая. И вдруг зазвучали церковные песнопения, вызывая непостижимое чувство, которое охватывает самые неверующие души и заставляет их поддаться трогательной гармонии человеческого голоса. Церковь спешила помолиться о существе, не ведавшем о ней. Появился кюре, впереди него шел служка с крестом в руках, а позади — пономарь с кропильницей и около пятидесяти женщин, стариков, детей: они хотели слить свои молитвы с молитвами церковными. Доктор и офицер молча переглянулись и отошли, уступая место толпе, опустившейся на колени в хижине и во дворе. Когда священник начал читать отходную над человеческим существом, никогда не грешившим, с которым верующие пришли проститься, почти на всех огрубевших лицах появилось искреннее умиление. По шершавым щекам, обожженным солнцем, обветренным на работе под открытым небом, покатились слезы. Бесхитростно было это чувство добровольного родства. Во всей общине не нашлось бы человека, который не жалел бы кретина, не подавал бы ему ломтя насущного хлеба; бедняга обрел отца в каждом мальчугане, мать — в девочке-хохотушке.

— Он умер, — произнес кюре.

Слова эти возбудили горестное смятение. Затеплились свечи. Многие хотели остаться на ночь возле покойника. Бенаси и офицер вышли. Несколько крестьян остановили доктора:

— Уж если вы не спасли его, господин мэр, значит, сам господь бог пожелал призвать его к себе.

— Я сделал все, что мог, друзья, — ответил доктор. — Вы не поверите, какое для меня утешение то, что вы сейчас услышали, — обратился он к Женеста, когда покинутая деревня, последний обитатель которой только что умер, осталась позади. — Десять лет назад меня чуть не избили до смерти камнями в этой деревне; теперь она безлюдна, а в те времена ее населяло тридцать семейств.

Женеста посмотрел на него с таким изумлением, что доктор после этих вступительных слов рассказал ему по дороге всю историю.

— Приехав сюда, сударь мой, я обнаружил в этой части кантона с дюжину кретинов, — начал он, оборачиваясь и указывая офицеру на развалившиеся дома. — Деревенька расположена в горной теснине, на самом берегу реки, которая питается водами тающих снегов; застоявшийся воздух, недостаток благодетельных солнечных

лучей — они освещают лишь верхушку горы, — все способствует распространению ужасного недуга. Закон не запрещает убогим созданиям вступать в брак, их охраняет здесь суеверие, сила, тогда еще мне не известная. На первых порах я проклинал ее, а потом стал ею восхищаться. Но ведь из-за этого кретинизм мог распространиться по всей долине. Прекратить эту физическую и духовную заразу значило оказать большую услугу краю; необходимость была неотложная, но благодеяние это стоило бы, пожалуй, жизни тому, кто взялся бы его осуществить. Тут, как и в других общественных кругах, пришлось бы, совершая доброе дело, затронуть если не корыстные интересы, то, что еще опаснее, — религиозные убеждения, вылившиеся в суеверие — самую прочную форму человеческих убеждений. Однако ничто не испугало меня. Я стал ходатайствовать, чтобы меня назначили мэром этого кантона, и добился назначения, а потом заручился словесным одобрением префекта, и как-то ночью почти всех этих убогих за определенную мзду перевезли в Эгбель — в Савойю: там их много, и уход за ними хороший. Население возненавидело меня, узнав об этом акте человеколюбия. Кюре произнес проповедь, направленную против меня. Напрасно

я пытался растолковать самым разумным жителям селения, как необходимо изгнать кретинов, напрасно даром лечил больных — все же меня чуть не пристрелили однажды у лесной опушки.

Я отправился к гренобльскому епископу и попросил сменить кюре. Преосвященный был так добр, что позволил мне выбрать кюре, способного помочь моим начинаниям, и на счастье я повстречал одного из тех людей, которых словно посылает само небо. Я продолжал свое дело. Ночью, заранее подобающим образом настроив умы, я вывез еще шесть кретинов. На этот раз у меня нашлись и защитники — кое-кто из людей мне обязанных, а также члены общинного совета: в них я разжег жадность, доказав, как дорого обходится содержание убогих и насколько выгоднее обратить земли, бывшие во владении кретинов без законного основания, в земли общинные, в которых так нуждалось селение. На мою сторону перешли богачи, но бедняки, старухи, дети и несколько косных упрямцев продолжали относиться ко мне враждебно. К сожалению, и в последний раз увезли не всех. Кретина, которого вы только что видели, не было дома, его не отправили вместе с другими, и наутро он оказался единственным представителем своей породы в

деревне, где жило еще несколько семейств, почти слабоумных, но еще не затронутых кретинизмом. Мне хотелось довести дело до конца, и я, надев мундир, пришел днем, чтобы увезти несчастного из его жилища. О моем намерении стало известно: только я вышел из ворот, как меня обогнали друзья кретина, перед его лачугой столпились старики, дети и женщины — они встретили меня бранью и градом камней.

В этой сумятице я наверняка пал бы жертвой исступления, какое охватывает толпу, раззадоренную криками и гневными чувствами, выражаемыми сообща, но спас меня сам кретин. Послышалось какое-то кудахтанье, и бедняга появился на пороге хижины, словно предводитель этих фанатиков. Стоило ему показаться, как крики прекратились. Мне пришло на ум предложить полюбовную сделку, и мне удалось объясниться, благо, на мое счастье, водворилось спокойствие. Положение-то ведь было такое, что мои сторонники не осмелились бы поддержать меня да и помощь их была бы чисто отвлеченной, а ведь этот суеверный народ с еще большим усердием стал бы оберегать своего последнего кумира; я увидел, что увезти его невозможно. Итак, я пообещал не трогать кретина, оставить

его дома с уговором, что общаться с ним не будут, что все жители перекочуют из деревни на другой берег реки и обоснуются в поселке, в новых домах, постройку которых я взял на себя, прирезав к ним наделы земли, — их стоимость община мне возместила впоследствии. Однако, сударь мой, хотя эта сделка была выгодна крестьянским хозяйствам, целых полгода пришлось потратить, чтобы побороть их сопротивление. Любовь крестьян к своим хижинам просто непостижима. Ведь, казалось бы, неприглядный домишко, а привязан к нему крестьянин больше, чем банкир к пышному особняку. Почему? Кто знает. Быть может, чем меньше чувств, тем они сильнее. Быть может, человек, почти не живущий жизнью умственной, живет привязанностью к вещам, и чем их меньше, тем, разумеется, он их больше любит. Быть может, с крестьянином происходит то же, что и с узником… он не растрачивает понапрасну своих душевных сил, сосредоточивает их на одном предмете, и его чувство от этого крепнет. Простите мою говорливость, но мне так редко случается обмениваться мыслями. Впрочем, не подумайте, сударь, что я часто предаюсь бесплодным размышлениям. Здесь во всем требуется дело и польза. К сожалению, чем уже кругозор

этого бедного люда, тем труднее заставить его понять, в чем заключается для него истинная польза. Поэтому-то мне и пришлось вникать во все мелочи моего начинания. Каждый твердил одно и то же, все слова были исполнены здравого смысла, и возражать было трудно: «Как же так, сударь, дома-то ведь еще не выстроены». — «Ну что ж, — отвечал я, — обещайте мне поселиться в них, как только они будут готовы». По счастью, сударь, мне удалось добиться, чтобы вся гора, у подножия которой стоит деревня, покинутая ныне, стала собственностью нашего селения. Стоимость леса, раскинувшегося по горным кручам, оказалась вполне достаточной, чтобы окупить земли и обещанные дома, которые и были отстроены. Как только одно из строптивых семейств там поселилось, не заставили себя ждать и другие мои подопечные. Благоденствие, наступившее после этой перемены, было так разительно, что его оценили и те, кто особенно суеверно держался за свою деревню, лишенную солнца, иначе говоря, лишенную души. Завершение этого дела, приобретение земель для общины — владение ими было подтверждено государственным советом — сделало меня влиятельным лицом в кантоне. Да, сударь, но сколько хлопот! — заме-

тил доктор, приостановившись и выразительно взмахнув рукой. — Одному мне известно, какое расстояние отделяет селение от префектуры, где ничего не добьешься, и префектуру от государственного совета, куда никому нет доступа. Ну, а в конце концов, — продолжал он, — бог с ними, с сильными мира сего: они уступили моим назойливым просьбам, и на том спасибо. Если бы вы знали, сколько добра иногда приносит какой-нибудь небрежный росчерк пера!.. И вот через два года, после того как я взялся осуществить эти мелкие и вместе с тем большие дела и довести их до конца, у всех неимущих обитателей завелось по меньшей мере две коровы, стадо выгоняли на горные пастбища; не дожидаясь согласия государственного совета, я проложил сеть оросительных канав, наподобие швейцарских, овернских или лимузенских. На глазах изумленных жителей зазеленели великолепные луга, и коровы стали давать гораздо больше молока, потому что улучшились пастбища.

Огромны были последствия этой победы. Все принялись подражать моему способу орошения. Возросло количество лугов, скота, сельскохозяйственных продуктов. И тут я уж спокойно занялся улучшением этого еще не возделанного уголка

земли и просвещением жителей, лишенных всякого образования. Видите, сударь, наш брат, человек одинокий, любит поболтать: зададут ему вопрос, — он как начнет отвечать, не остановишь его. Когда я попал сюда, в долине было душ семьсот жителей, теперь насчитывается около двух тысяч. После случая с кретином я добился всеобщего уважения. С людьми я всегда обращался мягко, но в то же время твердо, и в кантоне меня стали считать непогрешимым. И я все сделал, чтобы заслужить доверие, не показывая, что добиваюсь его. Я только старался внушить уважение к себе, свято выполняя все свои обязательства, даже самые пустячные. Я обещал взять под свою опеку беднягу, только что умершего на ваших глазах, и действительно окружил его еще большими заботами, чем прежние покровители. Его кормили, за ним ухаживали, как за приемным сыном общины. В конце концов жители поняли, какую я оказал им услугу, вопреки их воле. И все же у них сохранились отголоски прежнего суеверия; да я и не думаю порицать их за это; я воспользовался культом, окружавшим кретина, чтобы завербовать самых разумных для помощи несчастным. Ну вот мы и пришли! — после некоторого молчания произнес

Бенаси, завидя крышу своего дома.

Он не ожидал от слушателя похвалы или благодарности: рассказывая о трудном начале своей служебной деятельности, он, казалось, уступил безотчетному желанию высказаться, которому поддаются люди, удалившиеся от общества.

— Сударь, — сказал офицер, — я осмелился поставить лошадь в вашу конюшню. Надеюсь, вы простите меня, когда узнаете, зачем я приехал.

— Ах да, зачем же? — спросил Бенаси, будто отогнав какие-то беспокойные мысли и вспомнив, что спутник его — человек приезжий.

У него был открытый и общительный нрав, и он встретил Женеста как знакомца.

— Сударь, — ответил офицер, — до меня дошли слухи о чудесном исцелении одного жителя Гренобля — некоего господина Гравье, которого вы приютили. Я и поспешил к вам в надежде, что вы и меня излечите, хоть я не имею оснований рассчитывать на вашу благосклонность. Но, пожалуй, я заслуживаю ее! Мне, старому вояке, покоя не дают давнишние раны. Вам понадобится по крайней мере неделя, чтобы изучить мое состояние, ведь боли у меня бывают лишь приступами и…

— Ну что ж, сударь, — прервал его Бенаси, —

комната господина Гравье в вашем распоряжении, пожалуйте…

Когда они входили в дом, доктор торопливо распахнул дверь, и Женеста подумал, что он рад заполучить постояльца.

— Жакота! — крикнул Бенаси. — Приезжий господин будет у нас обедать.

— Позвольте, сударь, — возразил Женеста, — не лучше ли сначала договориться об оплате.

— Какой оплате? — переспросил доктор.

— За мое содержание. Не станете же вы даром кормить нас — меня и мою лошадь…

— Если вы богаты, — ответил Бенаси, — то заплатите; если нет — ничего и не надо.

— Ничего? — заметил Женеста. — Это, по-моему, дороговато. Но дело не в том, беден я или богат, — скажите, пожалуйста, не мало ли будет десяти франков в день, не считая оплаты за лечение?

— Терпеть не могу принимать плату за радость, которую я испытываю, оказывая гостеприимство, — произнес доктор, нахмурив лоб. — Лечением же я займусь только в том случае, ежели вы мне понравитесь. Богачам не купить моего времени, оно принадлежит жителям нашей долины. Не надобно мне ни славы, ни богатства, я

не требую от больных ни восхвалений, ни благодарности. Деньги, которые вы мне уплатите, пойдут гренобльским аптекарям за лекарства, необходимые здешним беднякам.

Всякий, услышав эти слова, произнесенные резким тоном, но без горечи, подумал бы, как Женеста: «Вот это — душа человек».

— Так, значит, сударь, — сказал офицер со свойственной ему настойчивостью, — я буду платить вам ежедневно десять франков, вы же располагайте ими, как вам заблагорассудится. Итак, решено, а об остальном уж мы столкуемся, — прибавил он, беря доктора за руку и пожимая ее с подкупающей сердечностью. — Сами увидите, я не сквалыга, хотя и предлагаю за свое содержание всего десять франков.

После этой борьбы, в которой Бенаси не выказал ни малейшего желания прикинуться великодушным благотворителем, мнимый больной вошел в дом врача, где все было под стать обветшалым воротам и одежде владельца. Каждая мелочь говорила о том, как равнодушен Бенаси ко всему, что не является насущной необходимостью. Он провел Женеста через кухню — это был самый короткий путь в столовую. Если кухню, закопченную, как в харчевне, украшал богатый

набор посуды, то роскошь эта была делом рук Жакоты, прежней служанки кюре, которая имела обыкновение говорить «мы» и полновластно хозяйничала в доме у доктора. Если на камине и стояла начищенная грелка, то уж, конечно, потому, что Жакота любила поспать зимой в тепле, а заодно согревала грелкой и постель хозяина, который, как она говорила, ни о чем-то не позаботится; Бенаси же нанял ее за те достоинства, которые всякому другому показались бы невыносимым недостатком.

Жакота желала распоряжаться всем домом, а доктору и хотелось найти такую женщину, которая бы распоряжалась его хозяйством. Жакота покупала, продавала, прибирала, меняла, ставила и переставляла, укладывала и раскладывала все, как ей было угодно; ни разу не сделал ей хозяин замечания, и Жакота, как хотела, управляла домом, конюшней, батраком, кухней, садом и хозяином. По собственному почину она меняла белье, затевала стирку, запасала провизию. Она ведала покупкой и убоем свиней, бранила садовника, решала, что подавать на завтрак и обед, из погреба бегала на чердак, с чердака — в погреб, наводила порядки, какие ей вздумается, не встречая ни малейшего отпора. Бенаси

поставил только два условия: чтобы обед был в шесть часов и чтобы расходовалось не больше определенной суммы в месяц. Женщина, которой все повинуется, всегда напевает, и Жакота, бегая по лестнице, то заливалась соловьем, то посмеивалась, то тихонько мурлыкала, то пела, то вновь мурлыкала. Она была очень чистоплотна и дом держала в чистоте. Хорошо, что у нее такие вкусы, а то не сладко пришлось бы господину Бенаси, говорила она, ведь бедняга до того неприхотлив, что капусту съест вместо куропатки и не заметит; не будь ее, господин Бенаси целую неделю не менял бы рубашки. Жакота неутомимо возилась с бельем, ее призванием было начищать мебель, она просто обожала чистоту, чистоту церковную, безукоризненную, самую сверкающую, самую умиротворяющую. Она враждовала с грязью и без передышки смахивала пыль, стирала, гладила. Ей не давало покоя, что ворота пришли в такую ветхость. Целых десять лет в начале каждого месяца вымаливала она у г-на Бенаси обещание сделать новые ворота, покрасить стены и все устроить «по-благородному», а он до сих пор не сдержал слова. Поэтому, сетуя на беспечность хозяина, она неизменно заканчивала похвалы ему одной и той же фразой:

— Не скажешь, что он глуп, ведь он прямо чудеса творит в наших краях. А все-таки он бывает глуп, ну до того глуп, что все ему в руки совать нужно, как малому ребенку!

Жакота любила дом, как свой собственный, да и, прожив в нем двадцать два года, она имела право на такой самообман. Бенаси, приехав сюда, узнал, что после смерти кюре продается дом, и приобрел все: здание, землю, мебель, посуду, вино, кур, старинные стенные часы с фигурками, лошадь и служанку. Жакота, образцовая представительница стряпух, носила платье из темного ситца в красный горошек, до того облегавшее, до того обтягивавшее ее грузный стан, что, казалось, ткань вот-вот треснет. От белоснежного круглого чепца с оборочками как будто еще белее становилось ее бесцветное лицо с двойным подбородком. Низенькая подвижная толстуха проворно орудовала пухлыми ручками, громко и беспрерывно тараторила. Если она, умолкнув на миг, загибала треугольником кончик передника, то это означало, что она долго будет в чем-то укорять хозяина или работника. Жакота, конечно, была счастливейшей кухаркой в королевстве. К довершению ее счастья — полного, насколько возможно в этом мире, тщеславие ее было вполне

удовлетворено: все селение признавало в ее лице некую промежуточную власть, стоящую между мэром и полевым сторожем.

В кухне хозяин никого не застал.

— Куда они запропастились? — сказал он. — Простите, что я вас привел сюда, — обратился он к Женеста. — Парадный ход — из сада, но я так не привык принимать гостей, что… Жакота!

На этот оклик, прозвучавший почти повелительно, в доме отозвался женский голос. И сейчас же Жакота перешла в наступление, в свою очередь позвав Бенаси, который и поспешил в столовую.

— Хороши вы, сударь! На вас это похоже! Напригласили гостей к обеду, а меня не предупредили, воображаете, что стоит только крикнуть «Жакота», все и поспело! В кухне, что ли, вы намерены принимать этого господина? Как было не открыть залу, не развести огонь? Николь там, он все устроит. А теперь пойдите-ка прогуляйтесь с гостем по саду. Развлеките его; если он понимает толк в красивых садах, покажите ему грабовую аллею покойного господина кюре, а я тем временем все приготовлю — и обед, и стол, и залу.

— Отлично! Кстати, Жакота, — продолжал Бенаси, — этот господин поживет у нас. Не забудь

наведаться в комнату господина Гравье. Постели свежее белье и вообще…

— Уж не думаете ли вы бельем заниматься, а? — подхватила Жакота. — Я-то знаю, что ему нужно для ночлега. А вы ведь за год ни разу и не зашли в комнату господина Гравье. Да и смотреть незачем, она чиста, как стеклышко. Так, значит, этот самый господин будет у нас жить? — прибавила она, смягчившись.

— Да.

— И долго?

— Вот уж не знаю. Но тебе-то что до этого?

— Как мне-то что до этого, сударь? Вот тебе и раз, «мне-то что до этого»? Новое дело! А провизия, а…

Оборвав поток слов, который она в другое время обрушила бы на хозяина, укоряя его в недостатке доверия, Жакота пошла следом за ним на кухню. Она угадала, что дело идет о нахлебнике, и ей не терпелось увидеть Женеста, перед которым она подобострастно присела, оглядывая его с головы до ног. В ту минуту у офицера было грустное и задумчивое выражение лица, что придавало ему суровый вид. Разговор служанки и хозяина обнаружил, казалось ему, слабость характера у Бенаси, и это, к огорчению Женеста, умаляло то

высокое мнение, какое он составил себе о докторе, дивясь настойчивости, с которой тот спасал маленький край от напастей кретинизма.

— Не нравится мне этот чудак! — пробормотала Жакота.

— Если вы не устали, сударь, — сказал доктор мнимому больному, — погуляем до обеда по саду.

— Охотно, — ответил офицер.

Они прошли столовую и попали в сад через переднюю, устроенную около лестницы и отделявшую столовую от залы. Отсюда большая застекленная дверь вела на каменное крыльцо, украшавшее фасад дома. За садом, который разделен был на четыре больших правильных квадрата дорожками, окаймленными буксом и пересекавшимися крест-накрест, зеленела густая грабовая роща — отрада прежнего хозяина. Офицер уселся на деревянную, источенную червями скамью, даже не взглянув на беседку, увитую виноградными лозами, на плодовые деревья, рассаженные шпалерами, на грядки, за которыми усердно ухаживала Жакота, верная традициям покойного кюре, ярого чревоугодника и садовода: Бенаси был к саду совсем равнодушен.

Офицер прекратил начавшийся было пустой

разговор и обратился к доктору:

— Как вам удалось, сударь, за десять лет утроить численность населения долины? До вашего приезда тут было семьсот душ, а сейчас, вы сами говорите, перевалило за две тысячи.

— Еще никто не спрашивал меня об этом, — ответил доктор. — Хоть я и задался целью довести до полного процветания наш затерянный уголок, но дел у меня столько, что некогда было поразмыслить, каким же способом я, словно нищенствующий монах, так сказать, приготовил «похлебку из топора». Сам господин Гравье — один из наших благодетелей, которого мне удалось вылечить, — не думал о теории, когда разъезжал со мной по горам и видел плоды моих стараний.

Водворилось недолгое молчание, Бенаси углубился в размышления и не обращал внимания на гостя, который, не сводя с него испытующего взгляда, старался его разгадать.

— Вы спрашиваете, как это получилось, милостивый государь? — продолжал доктор. — Да само собой, и в силу социального закона притяжения между потребностями, которые мы себе создаем, и средствами их удовлетворения. Все дело в этом. Народы, у которых нет потребно-

стей, бедны. Когда я перебрался сюда, в селении насчитывалось сто тридцать крестьянских семейств, а в долине — около двухсот хозяйств. Местные власти, под стать общему убожеству, состояли из безграмотного мэра, его помощника — арендатора, жившего вдали от общины, и мирового судьи — бедный малый перебивался на жалованье и свалил ведение актов гражданского состояния на письмоводителя, такого же горемыку, вряд ли способного разобраться в делах. Семидесятилетний кюре умер, и сменил его викарий, полный невежда. Вот эти-то «сливки» общества и управляли краем. И на лоне прекрасной природы жители прозябали в грязи, питались картошкой и молоком; только сыр, который они носили на продажу по соседству или в Гренобль, давал кое-какой доход. Те, кто были побогаче и подеятельней, сеяли гречиху, целиком потреблявшуюся в селении, иной раз ячмень или овес; пшеницы и в помине не было. Единственным промышленником в наших краях был мэр, владелец лесопилки, — он за бесценок скупал лесосеки, торговал лесом в розницу. Дорог не было, и в летнюю пору с великим трудом по бревну перевозили срубленные деревья, волокли их на цепи, привязанной к упряжи

лошадей, — железный крюк на конце цепи вса-живался в ствол. Добираться до Гренобля, верхом или пешком, приходилось по широкой тропе, проложенной поверху, долиной же нельзя было ни пройти, ни проехать. На месте прекрасной дороги, которая идет отсюда до границы нашего кантона и, без сомнения, привела вас к нам, — в те времена тянулась настоящая топь. Ни одно политическое событие, ни одна революция не доходили до глухого нашего края, живущего вне социального движения. Сюда донеслось лишь имя Наполеона, ставшее у нас святыней по мило-сти двух-трех старых солдат, здешних уроженцев, вернувшихся домой; целыми вечерами расска-зывают они нашим простакам баснословные истории о деяниях императора и его армий. Кста-ти, их возвращение — событие небывалое. Пока я здесь не поселился, вся молодежь, уходившая в армию, там и оставалась. Одно это явление достаточно красноречиво говорит о нищете края, так что незачем ее и описывать. Вот, сударь, в каком виде застал я центр кантона, к которому относятся также общины, расположенные по ту сторону гор, хорошо возделывающие земли, живущие в достатке, чуть не в богатстве. Не стоит рассказывать вам, какие здесь были лачуги, по-

просту хлевы, где и люди и скотина жили вместе. Я побывал здесь проездом на обратном пути из Гранд-Шартрез. Постоялого двора не было, пришлось остановиться у викария, он временно жил в этом доме, тогда продававшемся. Расспрашивая его о том о сем, я получил некоторое представление о плачевном состоянии края, восхитившего меня прекрасным климатом, великолепной почвой и естественными богатствами. В ту пору, сударь, я жаждал обрести новую жизнь, устав от горестей прежней. И вот мне пришла в голову одна из тех мыслей, которые ниспосылает Бог, чтобы примирить нас с нашими бедами. Я решил преобразовать этот край, — так наставник решает заняться образованием ребенка. Не воздавайте похвал моим благодеяниям. Мне самому это было нужно. Я искал забвения и стремился посвятить остаток своих дней выполнению какой-нибудь трудной задачи.

В нашем кантоне, таком богатом по своей природе и таком бедном по нерадивости человека, столько надо было произвести перемен, что это поглотило бы целую жизнь; но именно трудность их осуществления и привлекала меня. Когда я удостоверился, что можно дешево приобрести дом кюре и много пустопорожней земли, то с

благоговением посвятил себя обязанностям сельского лекаря, то есть делу, за которое у нас так неохотно берутся. Мне хотелось стать другом бедняков, и я не ждал от них никакой благодарности. Не было у меня иллюзий и насчет крестьянских нравов, и насчет препятствий, которые встречаешь, пытаясь сделать лучше и человека, и условия его жизни. Я не идеализировал окружающих, принимая их за то, чем они были, за бедных крестьян, не очень-то добрых, но и не очень злых, которым вечный труд не позволяет предаваться чувствам, хотя они порою умеют чувствовать очень глубоко и сильно. А главное, я понимал, что воздействовать на них мне удастся только в том случае, если я им докажу, что перемена принесет им непосредственную выгоду и благосостояние. Все крестьяне — сыны апостола Фомы неверного: в подтверждение слов они всегда требуют фактов.

— Вы, пожалуй, посмеетесь над моими первыми шагами, — продолжал доктор после некоторого молчания. — Начал я свое трудное дело с корзиночной мастерской. Все здешние бедняки покупали в Гренобле плетенки для сыра и корзины, необходимые для их мелкой торговли. Я надоумил одного сметливого малого

арендовать порядочный участок земли по берегу реки, ежегодно обогащаемый наносами, — там отлично должен был расти ивняк. Прикинув, сколько корзиночных изделий потребляется в селении, я отправился в Гренобль — подыскать какого-нибудь искусного молодого корзинщика, сидящего без гроша, нашел такого человека и уговорил поселиться здесь, обещая оплачивать ему стоимость ивняка, нужного для производства, до той поры, пока его не станет снабжать прутьями предприимчивый хозяин ивовых насаждений. При этом я убедил его продавать корзины подешевле, чем в Гренобле, а выделывать получше. Он понял меня. Так выросла торговля ивняком и корзинами, и плоды ее были оценены лишь четыре года спустя, — вы, вероятно, знаете, что следует срезать только трехлетние лозы. Первый этап прошел благополучно, материала у моего корзинщика было в избытке. Вскоре он женился на крестьянке из Сен-Лоран-де-Пон, у нее водились кое-какие деньги. Он тут же выстроил себе хороший дом, позаботившись, чтобы в нем было много свету и воздуха, по моим советам выбрал место и наметил внутреннее расположение.

Вот когда я восторжествовал, сударь! Ведь я положил начало промышленности в селе, я привел

хозяина производства, а с ним и мастеровых. Вы сочтете мою радость ребячеством? Признаюсь, сударь, что первые дни после того, как корзинщик обосновался на новом месте, я всякий раз, проходя мимо его мастерской, чувствовал, что сердце у меня бьется учащенно. Стоило только мне увидеть новенький дом с зелеными ставнями, у дверей — скамью, виноградные лозы и вязанки ивовых прутьев, а в доме — опрятную, хорошо одетую женщину, кормившую здоровенького, пухлого, розовощекого младенца, увидеть мастеровых, которые с шутками и песнями проворно плели корзины под надзором человека, еще недавно бедного, измученного, а сейчас словно излучавшего счастье, тогда, не скрою от вас, я не мог устоять, на мгновение сам словно превращался в корзиночного мастера, входил в мастерскую, справлялся, как идут дела, и это доставляло мне неописуемое удовольствие. Радовался я и чужой и своей радостью. Дом первого крепко уверовавшего в меня человека стал моим оплотом. Ведь это было будущим бедного края, помыслы о котором я лелеял, как жена корзинщика — своего первенца. Мне предстояло взяться сразу за множество дел, преодолеть много предрассудков. Я встретил жесточайшее сопро-

тивление, — разжигал его безграмотный мэр, чье место я занял и чье значение стушевалось перед моим. Я хотел превратить его в помощника и соучастника моей полезной деятельности. Да, сударь, этого тугодума, самого неподатливого из всех, я решил просветить в первую очередь. Мне тут помогло его честолюбие и понимание своей выгоды. Целых полгода мы вместе обедали, и я отчасти раскрыл ему свои планы улучшения жизни кантона. Многие увидели бы в этой вынужденной дружбе весьма тягостную сторону моей задачи, но ведь этот человек был для меня ценнейшим орудием! Горе тому, кто с небрежением отнесется к своему долгу или беспечно отмахнется от него. Я был бы непоследователен, если бы, стремясь улучшить жизнь в этом крае, отступил перед мыслью сделать лучше и человека. Прежде всего надо было проложить проезжую дорогу. Это сразу же привело бы к благосостоянию. И если бы мы добились от муниципального совета разрешения на постройку хорошей дороги — отсюда до Гренобльского тракта, — то первым бы выиграл мой помощник; ему больше не пришлось бы платить втридорога, чтобы переправлять бревна по непроходимым тропам, он без труда перевозил бы их по нашей удобной

дороге, торговал бы лесом всех сортов и получал бы не каких-нибудь там шестьсот франков в год, а кругленькие суммы, и со временем скопил бы порядочное состояние. В конце концов он сдался и стал моим приверженцем. Всю зиму бывший мэр ходил по кабачкам, выпивал с приятелями и умудрился втолковать нашим подопечным, что удобная проезжая дорога станет источником богатства для всего края и позволит каждому торговать с Греноблем. Когда муниципальный совет дал согласие на проведение дороги, я добился от префекта денег из департаментского фонда вспомоществования, чтобы оплатить перевозку материалов, — сама община не могла осилить это, телег недоставало. Ну и, наконец, чтобы поскорее завершить работы, чтобы плоды их сразу же были оценены невеждами, которые клеветали на меня, уверяя, будто я собираюсь возродить барщину, мне пришлось в первый год своего управления и силой и уговором заставлять в воскресные дни жителей поселка — женщин, детей и даже стариков — работать на горе: там, по отличному грунту, я вехами наметил дорогу, которая ведет ныне из нашей деревни к Гренобльскому тракту. По счастью, под рукой было вдоволь нужного материала. Долго шли рабо-

ты, начинание это потребовало от меня немало терпения. Одни, не зная закона, уклонялись от натуральной повинности, а те, кому не хватало хлеба, в самом деле не могли терять и дня; приходилось наделять хлебом одних, дружеским словом увещевать других. Зато когда мы закончили две трети дороги протяженностью почти в два лье, жители воочию увидели ее преимущество и последнюю треть достроили с редкостным рвением. В заботах о будущем богатстве общины я насадил двойной ряд тополей вдоль придорожных канав. Даже теперь деревья эти — целое состояние, кроме того, они придают нашей дороге вид государственного тракта, на ней всегда сухо — так она удобно расположена, сделана же так прочно, что содержание ее не стоит и двухсот франков в год. Я вам покажу ее, вряд ли вы ее видели: наверное, приехали сюда по другой — по красивой дороге, проложенной пониже, которую сами жители задумали провести три года назад, чтобы наладить сообщение с выселками, тогда еще строившимися в долине. Итак, сударь, три года назад здравый смысл помог жителям селения, до той поры людям темным, усвоить такие понятия, которые на пять лет раньше какой-нибудь приезжий отчаялся бы вдолбить

им в голову. Но слушайте дальше. Предприятие моего корзинщика подало благой пример всему бедному люду. Хотя дорога и была первоосновой будущего процветания поселка, но надлежало дать толчок и ряду самых насущных промыслов, чтобы развить эти два зачатка благоденствия. Продолжая поддерживать и хозяина ивовых насаждений, и корзинщика, помогая строить дороги, я исподволь шел к своей цели. У меня было две лошади, а у торговца лесом, моего помощника, — три, подковать их он мог только в Гренобле, бывая там наездами; и вот я подговариваю кузнеца, понимающего кое-что в ветеринарном искусстве, переехать к нам, обещаю, что работы у него будет вдоволь. В тот же день встречаю отставного солдата, попавшего в затруднительное положение, — все его состояние заключалось в ста франках пенсии; он был грамотен, и я предоставил ему место секретаря мэрии; мне удалось найти ему жену, и его мечты о счастье сбылись. Для этих двух семейств, для корзинщика и двадцати двух хозяйств переселившихся из деревни кретинов надобны были дома. И у нас поселилось еще семейств двенадцать: семьи мастеровых, производителей и потребителей, каменщиков, плотников, кровельщиков, столяров, слесарей,

стекольщиков; работы им хватило надолго, — построив дома другим, они решили обзавестись собственным жильем. К тому же они привели с собой рабочих. За второй год моей деятельности в общине выросло семьдесят домов. Одно производство требовало другого. Я заселял наш край, создавал новые потребности, неизвестные до той поры беднякам-жителям. Спрос порождал промышленность, промышленность — торговлю, торговля — прибыль, прибыль — благосостояние, а благосостояние — полезные замыслы. Мастеровым нужен был готовый хлеб, и у нас появился пекарь. Население, с которого мне удалось стряхнуть позорную лень, ставшее таким деятельным, не желало больше питаться одной гречихой; я ведь застал то время, когда жители ели хлеб из гречи, а мне хотелось перевести их сначала на рожь или мешаное зерно — рожь с пшеницей, а затем в один прекрасный день увидеть каравай белого хлеба у самых неимущих. По-моему, умственное развитие целиком зависит от того, создаются ли здоровые условия жизни. Мясник, появившийся в селении, — предвестник и умственного расцвета, и зажиточности. Кто работает, тот ест, а кто ест — мыслит. Предвидя день, когда сеять пшеницу станет у нас необхо-

димостью, я тщательно изучил свойства почвы и убедился, что выведу селенье на путь сельскохозяйственного процветания и удвою число жителей, лишь только они примутся за работу. И эта пора настала. Гренобльцу — господину Гравье — принадлежали в нашей общине земли, не приносившие ему никакого дохода, а их можно было отвести под пшеницу. Он, как вам известно, начальник отделения в префектуре. Из любви к своему краю, а также уступая моему натиску, он и раньше любезно шел мне навстречу; теперь же я доказал ему, что его старания окупятся сторицею. Несколько дней прошло в канители — совещаниях, рассмотрении смет; я обязался обеспечить своим состоянием предприятие, и как ни отговаривала господина Гравье его жена, особа косная, он согласился построить у нас четыре фермы — каждая по сто арпанов, пообещав выдать вперед деньги на распашку нови, на покупку семян, земледельческих орудий, скота и на проведение дорог. Я тоже выстроил две фермы, отчасти ради того, чтобы обработать свои пустопорожние земли, а отчасти, чтобы наглядно обучить население полезным методам современного сельского хозяйства. За полтора месяца число жителей у нас увеличилось на триста человек. Шесть ферм,

где собиралось поселиться несколько семейств, распашка больших участков целины, возделывание полей — все это требовало рабочих рук. Со всех сторон стекались колесники, землекопы, подмастерья, поденщики. Гренобльскую дорогу запрудили телеги, сновавшие взад и вперед. Весь кантон пришел в движение. Приток денег вызвал у всех желание обогатиться, безразличия как не бывало, поселок пробуждался к жизни. В двух словах доскажу вам про господина Гравье, одного из здешних благодетелей. Несмотря на недоверчивость, свойственную провинциалу и чиновнику, он положился на мои обещания и выдал вперед сорок тысяч франков, не зная, вернутся ли к нему эти деньги. Теперь каждая ферма приносит ему тысячу франков арендной платы, а фермеры так хорошо наладили дело, что у каждого по крайней мере арпанов сто земли, голов триста овец, по двадцать коров да по десять волов, по пяти лошадей; на каждой ферме нанимают человек по двадцать батраков. Дальше. На четвертый год фермы были готовы. С наших земель собрали такой обильный урожай хлеба — иначе и не могло быть на девственной почве, — что он показался просто чудом местным жителям. Ну, а мне в тот год пришлось не раз дрожать за

свое дело. Случись дожди или засуха, и пропали бы все мои труды, поколебалось бы то доверие, которое мне удалось завоевать. Когда мы стали собирать хлеб, нам понадобилась мельница, и, как видите, мы ее построили — она приносит мне около пятисот франков прибыли в год. Поэтому-то крестьяне и говорят, что я «везучий», и верят в меня, как в святыню. Новые сооружения, фермы, мельница, насаждения, дороги — все это дало работу мастеровым, которых я уговорил к нам переехать. Правда, те шестьдесят тысяч, которые мы затратили, пошли на всякие постройки, но деньги свои мы с лихвой вернули благодаря доходам, созданным потреблением. Я прикладывал немало усилий, чтобы оживлять нарождавшиеся промыслы и торговлю. Так, я предложил садовнику — знатоку в разведении молодых деревьев — поселиться в нашем поселке и убедил крестьян-бедняков насадить плодовых деревьев, чтобы в один прекрасный день взять в свои руки всю торговлю фруктами в Гренобле. «Вот вы возите туда сыр, — говорил я им, — а почему бы не возить и домашнюю птицу, овощи, дичь, сено, солому и все прочее!» Советы мои являлись источником богатства для тех, кто им следовал. Таким образом создалось множество мелких про-

мысловых хозяйств, вначале они преуспевали медленно, но со дня на день преуспеяние их все возрастало. Теперь по понедельникам из селения в Гренобль выезжает телег шестьдесят, нагруженных всякой снедью, а на корм домашней птице собирается больше гречихи, нежели раньше засевалось для людей. Торговля лесом разрослась и распалась на разные отрасли. С четвертого года нашей промышленной эры к нам явились лесоторговцы — за дровами, за строительным лесом, за досками, корьем, за углем. Построено было четыре новых лесопилки для теса и балок. Бывший мэр приобрел кое-какие торговые навыки и понял, что грамоте выучиться необходимо. Он занялся сравнением цен на лес в ряде местностей и, обнаружив разницу в свою пользу, расширил круг покупателей, и сейчас в его руках — треть лесных поставок всего департамента. Перевозочных средств у нас стало так много, что в селении работают три каретника и два шорника, а у каждого не меньше трех подмастерьев. И наконец, нам нужно столько инструментов, что к нам переехал кузнец, и живется ему здесь превосходно. Стремление к прибыли дает толчок предприимчивости, она-то и побудила сельских промышленников распространить свое влияние

на кантон, а из кантона на весь департамент и, расширив торговлю, увеличить барыши. Стоило мне только слово сказать о новых рынках, как их здравый смысл довершил остальное. Прошло четыре года, и облик селения изменился. Раньше, бывало, проходишь по селу и не слышишь ни звука, а на пятом году все встрепенулось, все ожило. Веселые песни, шум мастерских, глухой или резкий рокот станков ласкали теперь мой слух. Жители сновали по улицам нового, чистенького, оздоровленного поселка, засаженного деревьями. Каждый видел эти благодетельные перемены, и на всех лицах было написано удовлетворение, которое дает нам жизнь, занятая полезным делом.

— Эти пять лет, по-моему, являются первым периодом зажиточной жизни нашего селения, — снова начал доктор, помолчав. — За эти годы я поднял всю целину, все ожило — и умы и поля. И с того времени благосостояние населения и развитие промышленности все возрастало. Подготовлялся второй период. Маленькому нашему мирку захотелось приодеться. У нас появился галантерейщик, а за ним — сапожник, портной, шляпочник. Начало изобилия дало нам мясника, бакалейщика; появилась акушерка, помощь которой стала мне необходима, потому что я терял

немало времени, принимая новорожденных. Со вспаханной целины был снят великолепнейший урожай. Отменному качеству наших сельскохозяйственных продуктов способствовало удобрение и унавоживание, а этим мы обязаны увеличению стада вследствие прироста населения. Мое дело отныне могло широко развиваться. Я оздоровил жилища, постепенно приучил жителей лучше питаться, лучше одеваться, я приложил все усилия к тому, чтобы начатки цивилизации отразились и на скотоводстве. Породистость и качество скота, а значит, и качество продуктов зависит от ухода; я стал ратовать за оздоровление хлевов. Доказав путем сравнения, что чем лучше содержится скот, чем он откормленней, тем больше от него барыша, я исподволь заставил крестьян заботливо обращаться с животными, и скот в общине перестал болеть. Коров и быков теперь держали в чистоте, прямо как в Швейцарии и Оверни. Овчарни, конюшни, хлева, погреба, амбары были переделаны по образцу просторных, хорошо проветриваемых и, следовательно, удобных хозяйственных построек, какие были у меня и у господина Гравье. Арендаторы стали первыми проповедниками моих идей, они сразу обращали людей недоверчивых на путь

истинный, наглядно доказывая, как благотворны мои советы и как быстро дают плоды. Неимущих я ссужал деньгами, особенно покровительствовал нуждавшимся ремесленникам: они служили благим примером. По моему совету скот с изъянами, хилый или даже среднего качества был продан и его заменили образцовым скотом. Поэтому-то наши продукты через определенное время взяли на рынках верх над продуктами других общин. У нас появились великолепные стада, а следовательно, и хорошая кожа. Все это имело очень большое значение. И вот почему: в сельском хозяйстве всякий пустяк важен. Прежде наше корье продавалось по дешевке, да и кожи ценились невысоко, но вот улучшились свойства коры и кожи, мы выстроили у реки дубильный завод, и к нам теперь стекались дубильщики, промысел их стремительно развивался. Само собой получалось, что вино, о котором прежде понятия не имели в селении и пили какую-то кислую бурду, стало потребностью: появились кабачки. Ну, а потом кабачок, выстроенный прежде других, расширился, превратился в постоялый двор, и путешественники нанимают там мулов — по нашей дороге теперь ездят в Гранд-Шартрез. Вот уже два года, как у нас настолько оживилась

торговля, что стало прибыльно содержать два постоялых двора. В начале второго периода нашего процветания умер мировой судья. Его преемником, к большому нашему счастью, оказался бывший гренобльский нотариус, разорившийся на неудачной сделке, но сохранивший кое-какие деньжонки: достаточно, чтобы в деревне слыть богачом; господину Гравье удалось уговорить его перебраться сюда, он обзавелся у нас хорошим домом и в своей деятельности пошел по моему пути: построил ферму, вспахал земли, поросшие вереском, сейчас у него в горах три дачки. Семейство у него многочисленное. Он уволил старого письмоводителя и судебного исполнителя и заменил их людьми более образованными, а главное, более предприимчивыми. Семьи новоселов построили винокурню, где перегоняется спирт из картофеля, и шерстомойню — весьма доходные предприятия, которыми руководят главы двух этих семейств, продолжая выполнять свои служебные обязанности. Я способствовал притоку средств в общину, и никто не чинил мне препятствий, когда я затеял постройку мэрии, — там я устроил бесплатную школу и поселил школьного учителя. Выбрал я для выполнения этого важнейшего дела бедняка-священника,

присягнувшего революции и за это отверженного всем департаментом, а у нас на старости лет он нашел пристанище. Учительница наша — почтенная, разорившаяся женщина, которая не знала, куда приклонить голову; мы помогли ей сколотить состояньице, и недавно она основала пансион для девиц — дочерей богатых окрестных фермеров. Ежели, сударь, до сих пор я имел право рассказывать вам о своей роли в истории этого уголка земли, то настало время сказать, что возрождение общины — наполовину дело рук господина Жанвье, нового кюре, истинного Фенелона в границах сельского прихода: он сумел смягчить местные нравы, внести тот дух братства, который сплачивает население как бы в одну семью. Господин Дюфо — мировой судья — тоже заслуживает благодарности жителей, хотя он и позже переехал сюда. Словом, чтобы вы по цифрам, более убедительным, нежели все мои разглагольствования, увидели, как обстоят у нас дела, скажу, что у общины сейчас двести арпанов леса и сто шестьдесят арпанов лугов. Она платит сто экю дополнительного жалованья кюре, двести франков сельскому сторожу, столько же школьному учителю и учительнице; пятьсот франков уходит у нее на починку дороги, столько

же на содержание мэрии, церковного дома и самой церкви и на всякие другие издержки, при этом не приходится взимать с жителей добавочный налог. Лет через пятнадцать у общины будет тысяч на сто франков леса под вырубку и удастся вносить всю сумму налогов и не брать при этом у жителей ни единого денье; безусловно, она станет одной из богатейших общин Франции. Да не наскучил ли я вам, сударь? — спросил Бенаси, подметив на лице Женеста задумчивое выражение, которое можно было счесть за рассеянность.

— Нет, что вы! — отозвался офицер.

— Торговля, промышленность, сельское хозяйство и наше потребление имели, сударь, всего лишь местное значение, — продолжал доктор. — На определенной ступени процветание наше неизбежно приостановилось бы. Правда, мне удалось открыть у нас почту и торговлю табаком, порохом и картами; удалось прельстить приятностью здешней местности и жизни среди нашего нового общества сборщика податей, и он перебрался сюда из той общины, где до сих пор предпочитал жить; удалось вовремя создавать у нас производство тех предметов, потребность в которых я пробуждал; удалось привлечь к нам целые семьи новоселов, ремесленников, внушить

им стремление обзавестись собственностью; как только у людей появлялись деньги — вспахивалась целина, пашни мелких землевладельцев постепенно заполонили склоны горы, каждый клочок возделывался. В начале моей деятельности бедняки пешком ходили в Гренобль и носили туда головки сыра, теперь же они отправлялись туда на повозках — отвозили фрукты, яйца, цыплят, индюшек. Преуспеяние незаметным образом росло. Самым необеспеченным считался теперь тот, кто владел только садом и огородом, выращивал фрукты и ранние овощи. И вот еще признак процветания: у нас уже никто не выпекал хлеб дома, чтобы не терять времени, а стада пасли малые дети.

Однако, сударь, промышленный очаг приходилось раздувать, беспрерывно подбрасывая топливо. Промышленность в селении еще не так расцвела, чтобы завязалась обширная торговля товарами, заключались крупные сделки, появились склады, рынок. Недостаточно сохранять в стране тот денежный запас, каким она обладает и который образует ее капитал; нельзя увеличить ее благосостояние, более или менее искусно пропуская эту сумму через возможно большее число рук путем взаимодействия производства

и потребления. Задача не в этом. Если в стране доходы крупные, а производство находится в равновесии с потреблением, то, чтобы возникли новые частные капиталы и увеличилось общественное богатство, надобно заняться вывозом и ввозом и тем самым добиться постоянного актива в ее торговом балансе. Мысль эта вечно побуждала государства, не имевшие достаточной земельной базы, например, Тир, Карфаген, Венецию, Голландию и Англию, овладевать внешними рынками. Я старался натолкнуть и наш маленький мирок на подобную же мысль, чтобы положить начало третьему торговому периоду. Благоденствие наше было едва приметно для взгляда путешественника, ибо центр нашего кантона похож на всякий другой, оно поражало меня одного. Население выросло постепенно и не могло судить о целом, ибо само участвовало в развитии края. Семь лет спустя я повстречал двух чужеземцев — истинных благодетелей нашего селения, которые, пожалуй, превратят его в город. Один из них — тиролец, у него все спорится в руках, — он шьет башмаки на крестьян и такую обувь на гренобльских франтов, какой не сделал бы ни один парижский сапожник. Этот бедный странствующий ремесленник — из тех трудолю-

бивых немцев, творцов и исполнителей, которые создают и произведения и инструменты, — остановился в нашем селении на обратном пути из Италии; он обошел ее вдоль и поперек, работая и распевая. Он спросил, не нужна ли кому-нибудь обувь, его послали ко мне, и я заказал ему две пары сапог, причем колодки сделал он сам. Я был изумлен сноровкой чужеземца, расспросил его, и мне понравились его четкие и краткие ответы, его обращение и наружность — словом, все в нем подтверждало то хорошее впечатление, которое он произвел с первого взгляда; я предложил ему остаться в селении, обещал всеми силами содействовать его работе и в самом деле предоставил в распоряжение тирольца довольно крупную денежную сумму. Он согласился. У меня были свои замыслы. Выделка кож у нас улучшилась, и спустя некоторое время можно было пустить их на изготовление недорогой обуви у себя же в кантоне. А я собирался было расширять производство корзин. Случай столкнул меня с человеком на редкость ловким и искусным, я стал уговаривать его, чтобы он помог мне создать в селении доходную и устойчивую торговлю. Спрос на обувь никогда не прекратится, и потребитель сейчас же оценит всякое улучшение в ее выдел-

ке. На счастье, сударь, я не ошибся. Теперь у нас пять кожевенных заводиков, туда для выделки поступают кожи со всего департамента; наши промышленники, чтобы раздобыть кожу, иногда добираются вплоть до Прованса; на каждом заводе производится и дубильное вещество. И знаете ли, сударь, дубильщики не успевают поставлять кожу тирольцу: у него занято чуть не сорок мастеровых! Другой пришелец — простой крестьянин, похождения которого не менее любопытны, но вам, пожалуй, наскучит их слушать; он придумал дешевый способ выделки широкополых шляп, излюбленных в здешних местах; сейчас он вывозит шляпы во все соседние департаменты, вплоть до Швейцарии и Савойи. Оба производства могут быть неиссякаемым источником процветания, если нам и в дальнейшем удастся сохранить высокое качество и низкую стоимость товара, — они-то и навели меня на мысль устраивать у нас три ярмарки в год; префект, пораженный преуспеянием промышленности в нашем кантоне, помог мне добиться королевского повеления, которым они и были учреждены. В прошлом году состоялись все три ярмарки; слух о них дошел до самой Савойи, — они известны там под названием обувных и шляпочных ярмарок.

Узнав о переменах в нашем краю, старший клерк одного гренобльского нотариуса, бедный, но образованный и трудолюбивый молодой человек, нареченный мадмуазель Гравье, поехал в Париж ходатайствовать об открытии нотариальной конторы; его просьба была удовлетворена. Покупать патент на контору ему не пришлось, и это дало ему возможность построить в новом поселке дом на площади, против мирового судьи. Теперь у нас еженедельно бывает базар, там заключаются довольно крупные сделки на скот и хлеб. В будущем году у нас, без сомнения, обоснуется аптекарь, затем часовщик, торговец мебелью, книгопродавец и, наконец, торговцы предметами роскоши, без которых не обойтись. Пожалуй, мы заживем по-городскому и у нас появятся городские дома. Просвещение шагнуло так далеко, что никто не противился, когда я предложил общинному совету подновить и украсить церковь, выстроить церковный дом, разбить обширную ярмарочную площадь, насадить вокруг нее деревья и установить черту, за которую не должны выступать фасады новых домов, — чтобы у нас были светлые, широкие, отменно проложенные улицы. Вот, сударь, каким образом у нас появилось тысяча девятьсот домов вместо ста тридцати семи, три

тысячи голов рогатого скота вместо восьмисот и две тысячи душ населения вместо семисот, а считая жителей долины — и все три тысячи. В общине насчитывается двенадцать богатых семейств, сто состоятельных и двести зажиточных. Остальные трудятся. Грамотны все. Кстати — у нас семнадцать подписчиков на различные газеты. Вы еще встретите немало бедняков у нас в кантоне, их на мой взгляд, даже слишком много, но подаяния никто не просит — работа всем находится. Теперь я за день чуть не загоняю двух лошадей, навещая больных. В любой час разъезжаю я на пять лье в окружности — опасность мне не грозит: всякого, кто вздумал бы выстрелить в меня, мигом бы прикончили. Молчаливая привязанность жителей — вот все, что лично я получил от этих перемен, не говоря о том, как мне бывает приятно, когда, проходя мимо жителей, я слышу их радостные приветствия: «Здравствуйте, господин Бенаси!» Вы понимаете, что богатство, которое я помимо собственной воли нажил на своих образцовых фермах, для меня — средство, а не цель.

— Если бы, сударь, повсюду следовали вашему примеру, Франция стала бы великой страной и ей не было бы дела до Европы! — восторженно

воскликнул Женеста.

— Да что это я целых полчаса держу вас здесь, — промолвил Бенаси, — совсем стемнело, пойдемте к столу.

Из каждого этажа докторского дома в сад выходит по пяти окон. Дом двухэтажный, под черепичной кровлей, с выступающей мансардой. Ставни, выкрашенные в зеленый цвет, резко выделяются на сероватом фоне стен, а вместо лепных украшений между этажами вьются виноградные лозы, они протянулись от угла до угла наподобие фриза. Внизу, прижавшись к стене, чахнут кусты бенгальской розы, в дождь их заливает с крыши, так как нет водосточных труб. Если войти с парадного хода, то направо от лестничной площадки, служащей передней, будет гостиная в четыре окна, смотрят они и во двор и в сад. В гостиной этой, о которой, как видно, немало пекся покойный хозяин, потратив на нее немало своих сбережений, — паркетный пол, стены обшиты деревянными панелями, а вверху обиты тканными шпалерами позапрошлого века. Большие глубокие кресла, крытые китайским шелком в цветах, старинные вызолоченные подсвечники, украшающие камин, и занавеси с пышными кистями — все говорило о том, что

священник жил в достатке. Бенаси дополнил убранство, не лишенное своеобразия, двумя деревянными консолями в резных гирляндах, поставленными в простенках между окнами, и часами в черепаховом футляре с медной инкрустацией, которые красовались на камине. Доктор редко заходил в эту комнату, воздух в ней был затхлый, как всегда в запертых помещениях. Там застоялся крепкий запах табака, напоминавший о покойном кюре, — казалось, запах этот шел из уголка, возле камина, где любил сиживать кюре. Два больших кресла с подушками стояли друг против друга у камина, где огонь не разводился со дня отъезда Гравье, сейчас же там ярко пылали еловые дрова.

— По вечерам еще холодновато, — заметил Бенаси. — Приятно погреться у камелька.

Женеста задумался, стараясь объяснить себе, почему доктор так беспечно относится к обычным житейским мелочам.

— Сударь, — сказал он, — у вас душа истинного гражданина, и удивительно, что, совершив многое, вы не попытались просветить и правительство.

Бенаси тихонько засмеялся грустным смехом.

— Написать докладную записку о способах

цивилизовать Францию, не так ли? Мне это предлагал и господин Гравье. К сожалению, правительство не просветишь, и меньше всех способно просветиться правительство, воображающее, что оно распространяет просвещение. То, что мы здесь сделали, разумеется, надлежало бы сделать всем мэрам для своих кантонов, всем городским магистратам для своих городов, помощникам префекта для своего округа, префекту — для департамента, министру — для Франции, — каждому в пределах поля его деятельности. Я уговорил проложить дорогу длиною в два лье, а другие могли бы провести тракт, проложить канал; я поощряю производство крестьянских шляп, а министр мог бы избавить Францию от засилия иностранной промышленности, поощрив, скажем, производство часов, содействуя улучшению качества нашего чугуна, стали, доменных печей, изделий наших прокатных станов и разведению шелковичных червей, выращиванию синили[3]. Поощрение в торговом деле — еще не покровительство. Тут правильная политика должна быть устремлена на то, чтобы страна не зависела от иностранных держав, но без постыд-

[3] Примечания: 3

Синиль, или вайда — растение, из которого изготовляется синяя краска.

ного барьера таможен и запретительных систем. Промышленность можно спасти только при ее же помощи: конкуренция — это жизнь ее. Покровительственные меры ее усыпляют; монополия и заградительные тарифы — для нее смерть. Та страна, которая объявит свободу торговли, превратит все другие страны в своих данников и почувствует в себе такую промышленную мощь, что ей удастся поддерживать более низкие цены на товары, чем у конкурентов. Франция достигла бы этой цели гораздо легче, нежели Англия, ибо наша страна владеет достаточно большой территорией, чтобы удержать стоимость сельскохозяйственных продуктов на том уровне, который соответствует понижению заработков, выплачиваемых в промышленности; вот к чему должно стремиться французское правительство, в этом заключается злободневность вопроса. Да, милостивый государь, исследование такого рода не было целью моей жизни; задача, которой я так поздно посвятил себя, встала передо мной случайно. Все это — материя немудреная, из нее не создашь науки, нет в ней ничего поражающего, никаких теоретических глубин; на свою беду, она просто-напросто полезна. И быстро дело не делается, хочешь добиться успеха в этой области,

каждое утро находи в себе запас редчайшего терпения, — хотя со стороны кажется, что оно тебе ничего не стоит, — терпения педагога, беспрестанно повторяющего одно и то же, терпения плохо вознаграждаемого. Мы с уважением относимся к человеку, который, как вы, пролил кровь на поле брани, но презираем тех, кто день за днем растрачивает силы жизни, повторяя одни и те же слова детям одного и того же возраста. Творить добро негласно никого не соблазняет. По сути дела, у нас нет той гражданской добродетели, которая побуждала великих людей древности, когда им не надо было предводительствовать, становиться и в последние ряды, лишь бы оказать услуги родине. Болезнь нашего времени — самомнение. Святых больше, чем алтарей. И вот почему. Вместе с монархией мы потеряли *честь*, с религией наших отцов — *христианскую добродетель*, с бесплодными опытами управления государством — *патриотизм*. Устои эти частично существуют и поныне, ибо идеи не гибнут, но в наши дни они не воодушевляют людей. В наши дни есть только одна опора для поддержки общества — *эгоизм*. Каждый верует лишь в себя. Будущее — это человек, служащий обществу; выше этого мы ничего не видим. Великий человек,

который спасет нас от падения в пропасть, куда мы скатываемся неудержимо, воспользуется, несомненно, даже индивидуализмом, чтобы обновить нацию; но, до этого обновления, мы живем в век материальных интересов и расчета. Слова эти у всех на языке. Нас расценивают не по нашим достоинствам, а по нашему положению. Деятельным человеком из народа пренебрегают. Взгляд этот проник в самое правительство. Министр посылает грошовую медаль моряку, который, рискуя своей жизнью, спас не одну душу, а депутата, продавшего свой голос, господин министр награждает орденом Почетного легиона. Горе стране, где царят такие порядки! Нации так же, как и люди в отдельности, черпают силу лишь в высоких чувствах. Чувства народа — это и есть его верования. А у нас вместо верований — жажда наживы. Когда каждый думает только о себе, верит только в себя, встретишь ли подлинное гражданское мужество? Ведь первое условие этой добродетели заключается в отречении от самого себя. Гражданское мужество и мужество военное проистекают из одного начала. Вы призваны сразу отдать свою жизнь, наша же уходит по капле. И тут и там одна и та же борьба, но в иных формах. Недостаточно иметь благие намерения; чтобы

внести цивилизацию в самый заброшенный уголок земли, надобно быть образованным; но даже образование, честность и любовь к отечеству не помогут тебе, если нет твердой воли, которой ты обязан вооружиться, чтобы отречься от корыстных интересов, посвящая себя выполнению задач, полезных обществу. Конечно, во Франции найдется не один образованный человек, не один патриот на каждую общину, но я уверен, что не во всяком кантоне встретишь человека, который бы соединял с этими ценными качествами целеустремленность и упорство кузнеца, кующего железо. Человек разрушающий и человек созидающий — вот два полюса воли: один подготовляет, другой заканчивает дело; первый проявляет себя как злой гений, второй представляется гением добрым, одному — слава, другому — забвение. У зла громовой голос, который пробуждает низменные души, наполняет их восторгом, добро же долгое время безгласно. Человеческое честолюбие избрало наиболее выигрышную роль. Поэтому дело мира, выполняемое без тайной мысли о собственной выгоде, будет у нас явлением случайным до той поры, пока образование не изменит французские нравы. Когда же нравы изменятся, когда все мы станем настоящими

гражданами, не сделаемся ли мы, невзирая на все блага повседневной жизни, самым скучным, самым скучающим, самым бездарным, самым несчастным народом на земном шаре? Мне не дано разрешать столь важные вопросы, ибо я не стою во главе государства. Помимо всего прочего правительству трудно иметь правильные взгляды вот по каким причинам: в деле цивилизации, сударь, все относительно. Идеи, пригодные в одной стране, гибельны для другой, и в умах не меньше разнообразия, чем в местностях. У нас такое множество неудачных правителей лишь оттого, что способность управлять — призвание, проистекающее из чувства, весьма возвышенного, весьма чистого. В данном случае гениальность порождается душевным складом, а не познаниями. Никому не оценить ни действия, ни мыслей правителя — истинные судьи находятся вдали от него, а плоды деяний еще дальше. И всякий без опасений может выдать себя за правителя. Мы, французы, легко подпадаем под обаяние человеческого ума и проникаемся великим почтением к людям, богатым идеями, но идеи мало значат там, где нужнее всего воля. Наконец, управление страной заключается не в том, чтобы навязывать людям более или менее правильные представле-

ния или методы действия, а чтобы во имя общего блага направлять и плохие и хорошие их представления в нужную сторону. Если отсталость и косность выведут страну на плохую дорогу, то сам народ отречется от своих ошибок. Всякая ошибка в сельском хозяйстве, в политической или семейной жизни влечет за собой потери, поэтому ее исправляют в конце концов ради собственных же выгод. К великому счастью, здесь я нашел подлинную целину. Благодаря моим советам хорошо возделаны поля; но ведь в сельском хозяйстве не было вредных навыков, да и земли были хороши; поэтому я без труда ввел пятипольное хозяйство, искусственное орошение лугов, культуру картофеля. Моя сельскохозяйственная система не затронула ничьих предрассудков. Тут даже не пользовались обыкновенной сохой, как в иных частях Франции; полевых работ было мало, и обходились мотыгой. Тележному мастеру выгодно было восхвалять введенные мной колесные плуги, чтобы сбыть свои изделия, и он поневоле стал моим помощником. В этом деле, как и всегда, я старался сочетать интересы одних с интересами других. Затем от производства продуктов, которые приносили непосредственную пользу здешним беднякам, я перешел к

производству того, что увеличило их благосостояние. Я ничего не внес сюда извне, а только способствовал вывозу, чтобы обогатить жителей и чтобы они сразу увидели, как это им выгодно. Все они, сами того не подозревая, стали благодаря плодам своих трудов проповедниками моих идей. Еще одно соображение. Гренобль от нас всего лишь в пяти лье, а вблизи большого города сбыт изделиям всегда найдется. Не все общины лежат неподалеку от больших городов. В каждом случае надо принимать во внимание дух края, его местоположение, его возможности, надобно изучить почву, людей и то, чем они живут, а не думать о разведении виноградников в Нормандии. Поэтому-то ничто так не видоизменяется, как принципы управления, — тут общих правил мало. Закон единообразен, а нравы, земельные угодья и умы — нет, и управление страной — это искусство применять законы, не нанося ущерба людским интересам и помня о местных условиях. По ту сторону горы, у подножья которой стоит покинутая нами деревня, земли нельзя обрабатывать колесным плугом: слой почвы недостаточно глубок; когда бы мэр той общины вздумал подражать нашему способу земледелия, то разорил бы своих подчиненных; я посоветовал ему разво-

дить виноградники; в прошлом году тамошние жители собрали великолепный урожай винограда и меняют вино на наш хлеб. Главное, что люди, которых я поучал, стали мне доверять, мы постоянно поддерживали связь. Я исцелял крестьян от болезней, которые так легко поддаются исцелению; в самом деле, все сводилось к тому, чтобы вернуть им силы, дав питательную пищу. Из бережливости или по бедности крестьяне питаются до того скудно, что недуги их проистекают от недоедания, вообще же здоровье у них неплохое. Когда я безоговорочно решил начать подвижническую и безвестную жизнь, то долго колебался, не зная, кем стать — кюре, сельским врачом или мировым судьей. Недаром, сударь, народная мудрость объединяет трех этих людей в черном — священника, законника и лекаря; один врачует изъяны души, другой — кошелька, а третий — плоти; они представляют собою три основных жизненных устоя общества: совесть, имущество, здоровье. Некогда первый, а затем второй воплощали в себе все государство. Наши предшественники на земле думали — пожалуй, и справедливо, — что священник, владычествуя над помыслами, должен стать единой правящей властью; он и был тогда королем, первосвящен-

ником и судьей; но в те времена все зиждилось на вере и совести. Ныне все изменилось, и мы должны принять наше время таким, каково оно есть. Как хотите, но я верю, что рост просвещения и благосостояния страны зависит от этих трех лиц, они — три вида власти, благодаря коим народ непосредственно ощущает влияние действий, интересов, принципов, а те в свою очередь являются тремя важнейшими следствиями событий, собственности и идей. Время идет и приносит перемены; увеличивается или уменьшается собственность, в зависимости от этих разнообразных изменений надо все и налаживать — отсюда основы порядка. Чтобы цивилизовать край, положить начало промышленности, надо внушить населению, в чем личные интересы совпадают с интересами национальными, которые выражаются в действиях, материальных интересах и принципах. И вот мне представлялось, что три профессии, неизбежно соприкасающиеся с этими сторонами общественной жизни, в наше время должны стать величайшими рычагами цивилизации; только они всегда дают возможность честному человеку действенно улучшать судьбу нуждающихся классов, с которыми представители этих профессий постоянно связаны.

Но крестьянин охотнее внемлет человеку, прописывающему лекарство для спасения плоти, нежели священнику, толкующему о спасении души: один может говорить с крестьянином о земле, которую тот обрабатывает, другой принужден вести с ним беседы о небе, до которого тому теперь, к несчастью, весьма мало дела, я говорю — к несчастью, ибо вера в будущую жизнь не только утешение, но и орудие, помогающее управлять. Разве религия не единственная сила, которая освящает общественные законы? Недавно мы оправдали бога. Когда религии не стало, правительство было вынуждено, чтобы законы исполнялись, изобрести террор, но то был страх человеческий, а значит преходящий. Видите ли, сударь, больной или выздоравливающий крестьянин, прикованный к своему одру, волей-неволей выслушивает разумные доводы и отлично их понимает, когда они изложены ясно. Эта мысль и сделала меня доктором. Я занимался подсчетами с крестьянами ради их пользы, давал им такие советы, выполнение которых неизменно подтверждало справедливость моих идей. В глазах народа надобно быть непогрешимым. Непогрешимость создала Наполеона, она создала бы из него бога, не узнай мир о его поражении

при Ватерлоо. Магомет, завоевав предварительно треть земного шара, стал основателем религии лишь потому, что никто не видел, как он умирал. Для сельского мэра и для завоевателя — одни и те же законы: нация и община одна и та же паства. Люди повсюду одинаковы. И вот еще что — я был требователен к тем, кому давал взаймы. Если бы не моя твердость, все бы презирали меня. Крестьяне, как и люди светские, в конце концов перестают уважать людей, которых обманывают. Раз ты позволил одурачить себя, значит, выказал слабость. Управляет лишь сила. Никогда и ни у кого я не брал ни гроша за лечение, если не знал заведомо, что больной богат; однако я не скрывал, сколько стоят мои труды. Бесплатно лекарства я не даю, если больной не очень нуждается. Крестьяне хоть и не платят мне, но знают, что они — мои должники; иной раз они ради успокоения совести приносят мне овес для лошадей, зерно, когда оно не дорого. Ну, а вот мельник в уплату за лечение принес рыбу, и я еще сказал, что он уж очень расщедрился из-за такой малости, дипломатия моя даст плоды: зимой я получу от него несколько мешков муки для бедняков. Поверьте, сударь, есть сердце у наших крестьян, только не надо их унижать. Теперь я

скорее хорошего мнения о них, не то что прежде.

— Трудно вам, вероятно, пришлось? — спросил Женеста.

— Ничуть, — ответил Бенаси, — ведь сказать что-нибудь полезное не более утомительно, чем болтать вздор. Между делом я беседовал с крестьянами о них самих, пересыпая разговор шутками. Сначала они и слушать не желали; мне пришлось побороть немалое предубеждение: я ведь — горожанин, а горожанин для них враг. Борьба эта меня занимала. Разница между тем, кто делает добро, и тем, кто делает зло, лишь в одном — в спокойной или неспокойной совести, а труд одинаковый. Ежели бы мошенники вели себя хорошо, то, право, нажили бы миллионы, а не петлю на шею.

— Сударь, — крикнула, входя, Жакота, — обед остынет!

— Хочется мне сделать одно замечание по поводу того, что я сейчас слышал. Сударь, — сказал Женеста, взяв доктора под руку и удерживая его, — я не читал ни одной реляции о войнах Магомета, посему не могу судить о его военных способностях, но если б вам привелось наблюдать военную тактику императора во время французской кампании, вы бы просто сочли его богом.

Да и разбили его при Ватерлоо лишь оттого, что он больше, чем человек, — тяжел он был для земли, и земля разверзлась под ним, вот и все. В остальном же я с вами согласен, и, разрази меня бог, женщина, родившая вас, даром время не потеряла!

— Ну, пожалуйте к столу! — воскликнул Бенаси улыбаясь.

Столовая была сплошь обшита деревом и выкрашена в серый цвет. Несколько плетеных стульев, буфет, шкафы, печка, знаменитые стенные часы покойного кюре и белые занавески на окнах — вот и вся ее обстановка. На столе, накрытом белой скатертью, не было и следа роскоши. Посуда стояла фаянсовая. На первое подали, по обычаю, заведенному покойным кюре, такой крепкий бульон, какого ни одна стряпуха в мире не варила и не уваривала. Не успели доктор и его гость съесть суп, как в кухню стремительно вошел какой-то человек и, не обращая внимания на воркотню Жакоты, вторгся в столовую.

— Что случилось? — спросил доктор.

— Да вот хозяйка наша, госпожа Виньо, как побледнеет, как побледнеет, мы все даже перепугались.

— Ну что ж, — спокойно сказал Бенаси, — при-

дется встать из-за стола.

Он поднялся. Женеста, как доктор ни уговаривал его, отложил салфетку и решительно, по-военному, заявив, что не останется за столом без хозяина, вернулся в залу погреться и поразмыслить о горестях, которые встречаются в земной нашей юдоли у людей всех состояний.

Бенаси скоро воротился, и будущие друзья снова уселись за стол.

— Заходил Табуро, хотел потолковать с вами, — сказала хозяину Жакота, внося кушанья, которые все время подогревала.

— Кто же у него заболел? — спросил он.

— Никто, сударь. Говорит — посоветоваться о своих делах пришел; он еще раз зайдет.

— Хорошо. Табуро для меня — ходячий философский трактат, — сказал Бенаси, обращаясь к Женеста, — приглядитесь к нему повнимательнее, когда он будет здесь, он вас, конечно, позабавит. Был он поденщиком, славным, бережливым малым, мало ел, много работал. Но стоило плуту скопить несколько экю, как у него развилась смекалка, он потянулся за новшествами, которые я вводил в нашем бедном кантоне; Табуро старался извлечь из них пользу и разбогатеть. За восемь лет он сколотил изрядное состояние —

изрядное для нашего кантона. Сейчас у него, пожалуй, наберется тысяч сорок франков. Готов биться об заклад, что вы не разгадаете, каким манером он нажился. Он ростовщик — ростовщик закоренелый, и стал ростовщиком потому, что играет на нуждах всех обитателей кантона с таким верным расчетом, что я потерял бы зря время, пробуя рассеять их заблуждение насчет преимуществ, которые они якобы извлекают, заключая с ним сделки. Пройдоха Табуро, увидев, что все стали обрабатывать землю, объехал окрестности, скупая зерно, чтобы снабдить бедняков семенами для посева. Здесь, как и повсюду, крестьянам и даже кое-кому из фермеров не хватало денег уплатить за семена. Одних дядя Табуро ссужал мешком ячменя, а ему после жатвы возвращали мешок ржи; другим давал сетье зерна в обмен на мешок муки. Теперь проныра ведет эту своеобразную торговлю во всем департаменте. Если ничто ему не помешает, то он, может статься, наживет миллион. Так-то вот, сударь, жил-был поденщик Табуро, честный, услужливый, славный малый, и готов был подсобить всем, кто в нем нуждался, а выросли доходы, и появился господин Табуро — сутяга, крючкотвор, зазнайка. Он богатеет и делается все хуже. Стоит крестьянину перейти

от жизни, полной трудов, к жизни в довольстве или превратиться в крупного землевладельца — и он становится несносным. Существует класс — полудобродетельный, полупорочный, полуобразованный, полубезграмотный, который всегда будет приводить в отчаяние всякое правительство. Дух, присущий этому классу, есть и в Табуро — с виду он простак, даже невежда, но становится мудрецом, едва дело коснется его выгоды.

Шум тяжелых шагов оповестил о приходе ростовщика.

— Войдите, Табуро! — крикнул Бенаси.

Офицер, предупрежденный доктором, пристально поглядел на Табуро и увидел худого, сутулого крестьянина, с выпуклым морщинистым лбом. Его невзрачное лицо было словно пробуравлено крохотными серыми глазками в темных точках. Рот у него был сжат, заостренный подбородок имел поползновение соединиться с ехидно загнутым носом. На выдающихся скулах лучами расходились морщины, что указывало на кочевую жизнь и торгашескую хитрость. В волосах уже пробивалась седина. На нем была синяя довольно опрятная куртка, четырехугольные карманы топорщились по бокам, а меж бортами

виднелся белый жилет в цветочках. Он стоял расставив ноги и опираясь на палку с увесистым набалдашником. Несмотря на возмущение Жакоты, маленькая испанская ищейка увязалась за торговцем зерном и улеглась возле него.

— Ну, какое там у тебя дело? — спросил его Бенаси.

Табуро подозрительно посмотрел на незнакомца, сидевшего у доктора за обеденным столом, и сказал:

— Дело не в болезни, господин мэр, да ведь вы худосочие кошелька лечите не хуже, чем худосочие телесное, вот я и пришел посоветоваться с вами о затрудненьице, которое получилось у нас с одним сенлоранцем.

— Что ж ты не идешь к мировому судье или его секретарю?

— Э! да вы, сударь, посмекалистее их, и я буду куда увереннее в деле, ежели узнаю ваше суждение.

— Любезный Табуро, я охотно даю бесплатно врачебные советы беднякам, но не стану даром рассматривать тяжебные дела такого богача, как ты. Знания даются дорогой ценой.

Табуро начал теребить шапку.

— Если хочешь знать мое мнение, а на этом ты

сбережешь немало монет, — ведь пришлось бы тебе их отсчитать судейским в Гренобле, — пошли мешок ржи вдове Мартен, той самой, что воспитывает приютских детей.

— Да я, сударь, пошлю с превеликим удовольствием, раз, по-вашему, так надобно. А не наскучу я приезжему гостю, рассказывая о своем дельце? — прибавил он, показывая на Женеста. — Значит, так, сударь, — продолжал он по знаку доктора, — тому месяца два, приходит ко мне один сенлоранец. «Табуро, — говорил он мне, — не продадите ли вы сто тридцать сетье ячменя?» — «Почему не продать, — говорю я. — Это мое ремесло. Сейчас, что ли, нужно?» — «Нет, — говорит он, — к весне: для посева яровых». — «Идет». Ну, поспорили мы тут о цене, а потом ударили по рукам, уговорились, что заплатит он мне за весь ячмень по последней рыночной цене в Гренобле и я сдам ему зерно в марте, считая усушку, ясное дело. А ячмень-то, сударь, все дорожает да дорожает — словом, цена на ячмень вздулась, будто закипевшее молоко. Деньги мне позарез нужны, я беру и продаю свой ячмень. Не подкопаешься, верно ведь, сударь?

— Нет, ячмень тебе уже не принадлежал, — сказал Бенаси. — Он был у тебя на хранении. Ну, а

если бы ячмень подешевел, ты ведь заставил бы покупателя взять его по условленной цене?

— Тогда, может статься, молодчик ничего бы мне не уплатил. Кто же себе враг? Торговцу нечего упускать барыш, когда он сам в руки просится. К тому же товар — ваш, только когда вы за него уплатили. Верно ведь, господин офицер? Сразу видать, что изволили служить в армии.

— Табуро, — многозначительно сказал Бенаси, — не миновать тебе беды. Бог рано или поздно карает за дурные поступки. Ну, как можно, чтобы такой сметливый, грамотный человек, как ты, честно ведущий дела, стал в наших краях примером недобросовестности? Раз ты сам заводишь такие тяжбы, как же ты хочешь, чтобы несчастные бедняки были порядочными и тебя же не обворовывали? Батраки станут прогуливать, а не работать на тебя, и все у нас потеряют совесть. Ты не прав. Считалось, что товар уже отдан. Если бы сен-лоранский крестьянин увез ячмень, ты бы не взял его обратно; выходит, ты распорядился тем, что тебе не принадлежало, твой ячмень уже превратился в деньги, по вашему же уговору… Ну, продолжай.

Женеста бросил на доктора красноречивый взгляд, желая обратить его внимание на невоз-

мутимый вид Табуро. Ни один мускул не дрогнул на лице ростовщика во время этой отповеди. Кровь не прилила ко лбу, маленькие глазки были безмятежны.

— Так вот, сударь, я обязался поставить ячмень по ценам нынешней зимы; ну, а мне думается, незачем его отдавать.

— Послушай, Табуро, отправляй ты поскорей ячмень или не рассчитывай больше ни на чье уважение. Даже если ты выиграешь тяжбу, про тебя пойдет слава, что ты — человек без стыда и совести, без чести, не держишь слово…

— Ну, не стесняйтесь, обзовите меня мошенником, подлецом, вором. Сгоряча и не то скажешь, господин мэр, чего тут обижаться. В делах, знаете ли, каждый за себя.

— Ты будто сам напрашиваешься, чтобы тебя так называли.

— Да ведь, сударь, ежели закон за меня…

— Не будет закон за тебя.

— Да уж верно ли вы это знаете, верно ли, а, сударь? Потому, видите ли, дело-то ведь нешуточное.

— Ну, разумеется, верно. Не сидел бы за столом — заставил бы тебя прочесть кодекс законов. Если дело дойдет до суда, ты проиграешь, и ноги

твоей в моем доме больше не будет: я не принимаю людей, которых не уважаю. Ты тяжбу проиграешь. Понял?

— Вот и нет, сударь, не проиграю, — сказал Табуро. — Видите ли, господин мэр, ведь должен-то ячмень не я, а этот самый сенлоранец, я купил у него, а он возьми и откажись товар мне поставить. Мне только хотелось удостовериться, что дело я выиграю, а потом уж идти к судебному исполнителю да тратиться.

Женеста и доктор переглянулись, скрывая удивление, вызванное хитроумным приемом, который придумал ростовщик, чтобы узнать истину об этом подсудном деле.

— Ну что ж, Табуро, значит, у твоего сенлоранца совести нет, нечего заключать сделки с такими людьми.

— Эх, сударь, такие-то люди как раз и знают толк в делах.

— Прощай, Табуро.

— Слуга покорный, господин мэр и честная компания.

— Ну, как, — спросил Бенаси, когда ростовщик ушел, — не находите ли вы, что в Париже он быстро стал бы миллионером?

После обеда доктор и его гость вернулись в го-

стиную и весь вечер, до самого сна, проговорили о войне и политике Во время беседы Женеста выказал острую неприязнь к англичанам.

— Сударь, — сказал доктор, — позвольте спросить, кого я имею честь принимать у себя?

— Зовут меня Пьер Блюто, — ответил Женеста, — я капитан, мой полк стоит в Гренобле.

— Хорошо, сударь. Угодно вам следовать образу жизни, который вел здесь Гравье? Утром, после завтрака, он с удовольствием сопровождал меня в поездках по окрестностям. Не уверен, что вам понравятся дела, которыми я занимаюсь, настолько они будничны. Да вы и не землевладелец, не деревенский мэр и не увидите в кантоне ничего такого, чего бы не видели в других местах: все хижины — на один образец; но зато вы подышите свежим воздухом и у вас будет цель для прогулок.

— Ваше предложение доставляет мне несказанную радость, я не решался просить вас об этом, чтобы не показаться навязчивым.

Хозяин проводил Женеста, за которым мы оставим эту фамилию, несмотря на другую, вымышленную, в комнату, расположенную во втором этаже, над гостиной.

— Вот славно, — промолвил Бенаси, — Жакота

у вас затопила. Если что-нибудь понадобится, у изголовья к вашим услугам сонетка.

— Что тут еще может понадобиться! — воскликнул Женеста. — Вот даже и скамеечка для разувания есть. Только старый вояка знает цену этой штуки. На войне, сударь, нередко случается, что все бы отдал, лишь бы раздобыть эту проклятую разувайку… После нескольких переходов, а после боя особенно, бывает, что нога распухнет — и никакими силами ее не вытащишь из промокшего сапога; частенько я спал не разуваясь. Когда ты один, то это еще полбеды.

Офицер лукаво прищурился, чтобы придать последним словам особое значение, затем принялся, не без удивления, разглядывать комнату, — удобную, чистую, обставленную почти роскошно.

— Какое великолепие! — произнес он. — У вас тоже, должно быть, чудесная спальня?

— Если хотите, взгляните, — сказал доктор, — я ваш сосед, нас разделяет только лестница.

Женеста вошел к доктору и изумился, увидев полупустую комнату, голые стены которой были оклеены желтоватыми, местами выцветшими обоями с коричневым узором. Железная неискусно покрытая лаком кровать, над ней перекладинка, с которой ниспадали две серые

коленкоровые занавеси, плохонький, узкий коврик на полу, протертый до основы, — все напоминало больничную обстановку. У изголовья стоял ночной столик о четырех ножках, с дверцей, которая поднимается и опускается наподобие шторки, стуча, словно кастаньеты. Три стула, два соломенных кресла, комод орехового дерева, на нем таз и треснувший кувшин для воды, с крышкой в свинцовой оправе, дополняли обстановку. Камин был нетоплен, и бритвенные принадлежности стояли на крашеной каминной доске перед тусклым зеркалом, висевшим на веревочке. Чисто выметенный пол кое-где был попорчен, выбит, выщерблен. Серые коленкоровые занавески с зеленой бахромой украшали оба окна. Все, даже круглый стол, где стояла чернильница и валялись листы бумаги и перья, все в этой незатейливой картине, которой придавала благообразие безукоризненая чистота, соблюдаемая Жакотой, говорило о почти монашеской жизни, о том, что здесь живут чувствами и пренебрегают вещами. В открытую дверь офицер увидел кабинет, куда доктор заходил, очевидно, очень редко. И на этой комнате лежал такой же отпечаток, как и на спальне. Несколько запыленных книг было разбросано на запыленных полках, а шкаф,

уставленный аптечными склянками с ярлыками, наводил на мысль, что приготовлению лекарств тут уделяют больше времени, нежели занятиям отвлеченной наукой.

— Вы спросите меня, отчего ваша комната так не похожа на мою? — спросил Бенаси. — Знаете ли, мне всегда стыдно за тех, кто дает знакомым, приехавшим погостить, зеркала, обезображивающие настолько, что смотришь на себя и думаешь: уж не растолстел ли я или не похудел, не болен ли, не разбит ли апоплексическим ударом? Как же не стараться, чтобы временное пристанище друзей наших было поудобнее? Гостеприимство представляется мне добродетелью, счастьем и роскошью, но под каким бы углом зрения вы его ни рассматривали, даже если оно основано на корыстных соображениях, разве не должно окружать гостя и друга радушием и лаской? И вот к вашим услугам красивая обстановка, пушистый ковер, занавеси, часы, канделябры и ночник; к вашим услугам свечка, к вашим услугам хлопотунья Жакота, которая, конечно, принесла вам новые ночные туфли, стакан молока и грелку. Надеюсь, вам никогда не сиживалось удобнее, чем в мягком кресле, где-то раздобытом покойным кюре; да, уж поистине, если вы хотите найти вещь

добротную, красивую, удобную, обращайтесь к церкви. Словом, надеюсь, ваша спальня вам понравится. Найдутся тут и отменные бритвы, и превосходное мыло, и все те мелочи, которые придают столько уюта домашней обстановке. Но, дорогой господин Блюто, если мое мнение о гостеприимстве еще недостаточно объяснило вам причину различия между нашими комнатами, то вы, конечно, поймете, почему так неприглядна моя спальня, почему такой беспорядок в кабинете, когда завтра увидите, какая день-деньской у меня толчея. Да и сам я не домосед, всегда в разъездах. А ежели остаюсь дома, ко мне то и дело приходят крестьяне: я принадлежу им телом и душой, жилище мое в их распоряжении, и мне не пристало заботиться об этикете или огорчаться, что эти славные люди наносят ущерб моей обстановке. Роскошь уместна лишь в особняках, поместьях, будуарах и комнатах для друзей. Да и кроме того, я здесь только сплю, к чему же мне мишура богатства? Вообще вы не представляете себе, до чего мне все в этом мире опостылело.

Они по-приятельски пожелали друг другу спокойной ночи, обменялись сердечным рукопожатием и разошлись на покой. Прежде чем уснуть, офицер долго размышлял о человеке,

который час от часу вырастал в его мнении.

Глава II
В полях

Привязанность, которую каждый кавалерист питает к своему коню, заставила Женеста чуть свет поспешить в конюшню, и он остался доволен тем, как Николь почистил лошадь.

— Уже на ногах, капитан? — воскликнул Бенаси, идя навстречу гостю. — Что значит — военный, повсюду вам чудится утренняя зоря, даже в деревне.

— Хорошо ли вы себя чувствуете? — ответил ему вопросом Женеста, дружески протягивая руку.

— Никогда я не чувствую себя по-настоящему хорошо, — ответил Бенаси не то грустно, не то шутливо.

— Как вам спалось, сударь? — спросила Жакота у Женеста.

— Ей-богу, красавица, постель вы мне взбили прямо как новобрачной.

Жакота, просияв, пошла вслед за хозяином и офицером. Поглядев, как они садятся за стол, она сказала Николю:

— Право же, господин офицер — добрый малый!

— Еще бы! Уже сорок су мне дал!

— Сначала посетим двух усопших, — сказал Бенаси гостю, выходя из столовой. — Хоть докторам и не особенно приятно лицезреть свои мнимые жертвы, я свожу вас в два дома, и вы сделаете презанятные наблюдения над человеческой природой. Увидев эти сцены, вы убедитесь, насколько горцы отличаются от жителей равнин в изъявлении своих чувств. Часть нашего кантона расположена на горных кручах, там сохранились обычаи, от которых веет стариной, иной раз там наблюдаешь чисто библейские картины. Сама природа как бы провела границу, идущую вдоль цепи гор, — по обе стороны этой границы все не схоже между собой: вверху — сила, внизу — ловкость; вверху — большие чувства, внизу — корыстные помыслы. Если не считать Ажуйской долины, северная сторона которой заселена слабоумными, а южная — людьми здравомыслящими и где жители, отделенные друг от друга всего лишь ручьем, отличаются во всех отношениях: ростом, походкой, лицом, обычаями, занятиями, — больше нигде не видел я такой ощутимой разницы, как здесь. Это долж-

но бы побудить местные власти к проведению обстоятельных исследований края и сообразно им применять законы… А вот и лошади готовы, едем!

Всадники вскоре очутились у здания, стоявшего в той части поселка, которая обращена к горной цепи Гранд-Шартрез. В воротах дома, по виду довольно зажиточного, они увидели гроб, покрытый черным сукном и поставленный на два стула, четыре горящих свечи, а рядом табуретку, на ней — медную чашу со святой водой и веткой букса. Каждый, кто входил во двор, преклонял колени перед усопшим, произносил «Отче наш» и окроплял гроб святой водой. Над этим черным покровом зеленели кусты жасмина, посаженного у ворот, по верхней перекладине которых вилась виноградная лоза, уже покрывшаяся листвой. Перед домом девушка подметала землю, повинуясь невольной потребности придавать благолепие любым обрядам, даже самым печальным. Старший сын умершего, парень лет двадцати двух, стоял неподвижно, прислонясь к столбу ворот. Глаза его были полны слез, но не видно было, как они падали, вероятно, он утирал их украдкой. В тот миг, когда Бенаси и Женеста входили во двор, привязав лошадей к тополям, растущим вдоль

невысокой каменной ограды, из-за которой они и наблюдали эту сцену, отворилась дверь погреба, и оттуда вышла вдова, а следом какая-то женщина с кувшином молока.

— Крепитесь, бедняжка Пельтье, — говорила женщина.

— Ох, голубушка, ведь тяжело разлучаться с мужем, когда четверть века прожили вместе.

И глаза у вдовы увлажнились слезами.

— А два су вы уплатили? — прибавила она, помолчав, и протянула руку.

— Смотрите-ка, я и забыла, — промолвила ее спутница, отдавая ей монету. — Не горюйте же, соседушка. А вот и господин Бенаси.

— Ну, как, матушка, полегче вам? — спросил доктор.

— Ничего не поделаешь, дорогой господин Бенаси, — сказала вдова, заливаясь слезами, — надо перемогаться. Все твержу себе, что муженек отмучился. Ведь какой он мученик был! Проходите, господа. Жак, подай-ка господам стулья. Да поживей! Все равно не воскресишь отца, хоть целый век там торчи, право. Придется теперь тебе за двоих работать.

— Полно, хозяюшка, оставьте сына в покое, мы сидеть не будем. Сынок позаботится о вас, он

достойная замена отца.

— Пойди оденься, Жак! — крикнула вдова. — За ним сейчас придут.

— Ну, прощайте, матушка, — сказал Бенаси.

— Ваша покорная слуга, господа хорошие.

— Видите, — сказал доктор, — здесь смерть воспринимается как событие, которое предвидели заранее, она не прерывает обычного хода жизни, даже траур не соблюдается. В деревне никто не станет на это тратиться — кто по бедности, кто из бережливости. Да, сельские жители траура не носят. А ведь траур не обычай, не закон, а нечто высшее — это установление, исходящее из всех законов, которые имеют в основе нравственное начало. Так вот, как мы ни старались с господином Жанвье, не удалось нам внушить крестьянам, как важно придерживаться обрядности для сохранения общественного порядка. Люди они неплохие, но совсем недавно освободились от старых взглядов и еще не способны постичь новые отношения, которые должны связать их с отвлеченными понятиями; пока они дошли только до представлений, ведущих к порядку и благосостоянию физическому, позже, если кто-нибудь продолжит мое дело, они возвысятся до принципов, поддерживающих

общественные устои. В самом деле, недостаточно быть просто честным человеком, надо еще показать это, общество живет не только нравственными понятиями: чтобы существовать, оно должно действовать сообразно этим понятиям. В большинстве сельских общин на сотню семейств, у которых смерть отняла главу, всего лишь несколько человек, наделенных особой чувствительностью, сохранят надолго воспоминание об умершем, остальные же, не пройдет и года, совсем забудут о нем. Вы согласны, что такое забвение — моральная язва? Религия — душа народа, она выражает его чувства, делает их возвышенными; целеустремленными; но без бога, которому воздают почести, религия не существует, а следовательно, и человеческие законы не имеют ни малейшей силы. Совесть принадлежит только богу, но тело подвластно социальному закону; разве мы не делаем первый шаг к безбожию, когда уничтожаем обрядовые проявления скорби и не стараемся внушить неразумным детям и всем, нуждающимся в примере, что необходимо повиноваться законам, открыто и безропотно покоряясь воле провидения, которое карает и утешает, дает и отнимает блага земной жизни. Признаюсь, я пережил дни иронического

неверия и только здесь понял все значение религиозных обрядов, семейных торжеств, традиций и праздников. Семья во веки веков будет основой человеческого общества. Именно в семье человеку преподаются начатки уважения к власти и закону; именно там он должен учиться послушанию. Семейный дух и родительская власть, в самом широком смысле, являются теми двумя началами, которым еще мало уделено внимания в нашей новой законодательной системе. Семья, община, департамент — в этом ведь вся наша страна. Таким образом, законы должны основываться на трех этих главных опорах. На мой взгляд, надо окружить особой пышностью обряды бракосочетания, рождения и смерти. Внешний блеск и создал силу католицизма, глубоко внедрил его в обиход, сопутствуя ему во всех важных случаях жизни и окружая их торжественностью, поистине трогательной и величавой, если священник поднимается на высоту своего призвания и придаст обрядам возвышенность, достойную христианской морали. Прежде я считал, что католическая вера — это ловкая игра на всевозможных предрассудках и суевериях, с которыми должен покончить просвещенный век; здесь же я признал ее политическую необходимость

и нравственную пользу; здесь я понял, как она могущественна, по самому смыслу слова, выражающего ее. Религия означает «узы», и, конечно, церковные обряды, или, иначе говоря, внешние проявления религии, составляют единственную силу, которая может на долгие века сплотить разные общественные слои. Наконец, здесь почувствовал я, что за целительный бальзам льет религия на душевные раны; перестав оспаривать ее, я увидел, что она превосходно сочетается с пылким нравом южных народностей.

Свернем-ка на дорогу, которая идет вверх, — сказал, прерывая себя, доктор, — нам нужно добраться до плоскогорья, тогда по обе стороны от нас откроется прекрасная панорама. С высоты трех тысяч футов над Средиземным морем увидим мы Савойю и Дофине, горы Лионне и Рону. Мы попадем в другую общину — общину горную, и на ферме господина Гравье перед вами предстанет зрелище, о котором я говорил вам, — полное естественной торжественности, подтверждающей мои взгляды на главнейшие события нашей жизни. В этой общине траур соблюдают благоговейно. Бедняки собирают подаяние, чтобы купить себе траурную одежду, и ради этого никто не откажет им в помощи. Не

проходит дня, чтобы вдова, рыдая, не говорила о своей утрате; и десять лет спустя чувства ее так же глубоки, как и на другой день после постигшего ее горя. Нравы там патриархальные, власть отца неограниченная, слово его — закон, ест он один, сидя за столом на почетном месте, а жена и дети прислуживают ему; окружающие разговаривают с ним в почтительных выражениях и стоят с непокрытой головой. У людей, воспитанных таким образом, очень развито чувство собственного достоинства. Обычаи эти, на мой взгляд, составляют сущность благородного воспитания. Недаром почти все жители общины отличаются справедливостью, хозяйственностью и трудолюбием. Отец семейства, когда годы не позволяют ему больше работать, обычно делит имущество поровну между детьми, и дети его кормят. В прошлом столетии некий девяностолетний старец, поделив имущество между четырьмя сыновьями, жил у каждого по три месяца. Когда он уехал от старшего, отправляясь на житье к младшему, кто-то из приятелей спросил его: «Ну как, ты доволен?» — «Еще бы, — ответствовал старик, — они заботятся обо мне, как о собственном сыне». Выражение это, сударь, показалось столь замечательным офицеру по фамилии Вовенарг,

известному моралисту, в ту пору стоявшему с полком в Гренобле, что он не раз повторял его в парижских салонах, где прекрасные слова эти были подхвачены писателем по фамилии Шамфор. Да что там! У нас часто высказывают мысли еще более примечательные, только не найдешь бытописателей, достойных услышать их.

— Мне случалось видеть моравских братьев, лоллардов[4] в Богемии и Венгрии, — сказал Женеста, — они напоминают ваших горцев. Народ покладистый, переносит бедствия войны с ангельским терпением.

— Сударь, простые нравы схожи во всех странах, — ответил доктор. — Истина повсюду выражена одинаково. По правде говоря, жизнь в деревне убивает умственные запросы, но зато ослабляет пороки и развивает добродетели. И впрямь, чем меньше людей скучено в одном месте, тем меньше преступлений, вредных помыслов, тем меньше нарушаются законы. Чистота воздуха во многом способствует непо-

[4] Примечания: 4

«Мне случалось видеть моравских братьев, лоллардов...» — Моравские или чешские братья — религиозная секта, возникшая в Чехии в XV в.; проповедовала нравственное самоусовершенствование путем простой трудовой жизни. Лолларды — «бедные братья», средневековая религиозная секта в Англии, выражавшая требования плебейских масс. Лолларды выступали против духовенства и феодалов за социальное равенство.

рочности нравов.

Тут оба всадника, поднимаясь шагом по каменистой дороге, достигли плоскогорья, о котором говорил Бенаси. Над ним вздымалась обнаженная скалистая гряда, на которой не растет ни былинки; бурая верхушка изрыта расселинами, обрывиста, неприступна; полоса плодородной земли, отгороженная утесами, лежит у подножия гряды и вьется в виде неровной каймы шириною около ста арпанов. К югу, в огромном проеме меж гор, виднеются французская Морьена, Дофине, Савойские скалы, а вдали — горы Лионне. Женеста любовался ландшафтом, залитым лучами весеннего солнца, как вдруг раздались жалобные возгласы.

— Пойдемте, — сказал ему Бенаси, — начались причитания. Причитания составляют здесь часть похоронных обрядов.

Тут офицер заметил на западном склоне скалистого холма ферму внушительных размеров со службами, выстроенными правильным четырехугольником. Сводчатые ворота, сложенные из гранита, поражали своею величавостью, которую подчеркивали и древность их, и вековые деревья, раскинувшие рядом с ними свои ветви, и травы, растущие на краю арки. Жилой дом

высился в глубине двора, вокруг стояли риги, овчарни, конюшни, хлева, сараи, а посредине виднелась большая яма, где прел навоз. Двор, на котором в богатых и многолюдных фермах обычно кипит жизнь, словно вымер. Ворота скотного двора были затворены, скот оставался в загоне, оттуда чуть доносилось мычание. Хлева, конюшни — все было наглухо заперто, дорожка, ведущая к дому, чисто выметена. Мертвенный порядок там, где обычно царил живой беспорядок, бездеятельность и тишина в таком шумном месте, безмятежное спокойствие гор, тень, отбрасываемая скалою, — все вместе наводило тоску. Сам Женеста, привычный к сильным ощущениям, невольно вздрогнул, когда увидел человек двенадцать рыдающих мужчин и женщин, выстроившихся перед дверью в большую горницу, и услышал, как они в один голос протяжно возгласили: «Умер хозяин!»; дважды повторили они этот возглас, пока Женеста шел от ворот к дому. И не успело все затихнуть, как из отворенных окон дома послышались рыдания и раздался женский голос.

— Я не хочу быть непрошеным свидетелем чужого горя, — сказал Женеста, обращаясь к Бенаси.

— А я всегда посещаю семьи, удрученные смертью близких, — ответил доктор, — чтобы узнать, не заболел ли кто от горя, или удостоверить кончину. Без колебаний следуйте за мной; к тому же зрелище это столь внушительно и народа так много, что вас и не приметят.

Женеста пошел вслед за доктором и увидел, что первая комната и в самом деле полна родственниками. Оба пробрались сквозь толпу к дверям спальни, смежной с большою горницей, которая служила кухней и местом сбора всей семьи, — следовало сказать, целой колонии, ибо, судя по длине стола, обычно за него садилось человек сорок. Появление Бенаси прервало речь статной женщины в простом платье, с разметавшимися волосами, не выпускавшей из рук руку умершего. Окоченевшее тело его, обряженное в лучшие одежды, лежало вытянувшись на постели, полог которой был отдернут. Его лицо, дышавшее неземным покоем, обрамленное седыми кудрями, производило патетическое впечатление. У кровати стояли дети и ближайшие родственники супругов — представители каждого рода держались определенной стороны: слева — родственники вдовы, справа — родственники покойного. Женщины и мужчины молились,

преклонив колени; почти все плакали. Вокруг горели свечи. Приходский священник и певчие разместились посреди комнаты около открытого гроба. Трагическую картину являли собою глава этой огромной семьи и рядом — гроб, готовый навеки поглотить его.

— Ах, любезный господин мой, не спасли тебя знания лучшего из людей, — заговорила вдова, указывая на доктора, — значит, на то была божья воля, чтобы ты раньше меня сошел в могилу. Да, похолодела та рука, которая с любовью сжимала мою руку! Навеки утратила я любезного спутника жизни, а дом наш утратил своего бесценного хозяина, ведь ты поистине был нашим пастырем. Увы! Все, кто оплакивает тебя вместе со мною, хорошо знали мудрость твою и твои великие достоинства, но лишь одна я знала, как был ты незлобив и кроток! Ах, супруг мой, муж мой, вот и приходится навеки проститься с тобой, с тобой, опора наша, с тобой, великодушный господин мой. А мы, дети твои, ибо ты пекся о нас всех с одинаковою любовью, все мы потеряли отца!

И вдова сжала в объятиях безжизненное тело, орошая его слезами, согревая поцелуями, работники же возгласили среди наступившей тишины:

— Умер хозяин!

— Да, — снова начала вдова, — умер дорогой, возлюбленный отец наш, который добывал для нас хлеб насущный, сеял и собирал для нас жатву, заботился о нашем благополучии и, кротко повелевая нами, вел нас по жизненному пути. Как же мне не горевать о тебе, родной мой, ведь ты не причинил мне ни малейшего огорчения, ты был добрым, сильным, терпеливым, и, когда мы мучили тебя, желая вернуть тебе драгоценное здоровье, ты, бедный агнец, твердил: «Полноте, дети мои, все напрасно!» — таким же голосом, как твердил за несколько дней до того: «Все хорошо, друзья мои!» Великий боже, прошло всего лишь несколько дней, и радость покинула наш дом, омрачилась жизнь наша, ибо закрылись глаза лучшего, честнейшего, самого почитаемого из людей, того, с кем не мог сравниться ни один пахарь, того, кто днем и ночью бесстрашно объезжал горы, а вернувшись, всегда улыбался мне и детям. Как же все мы его любили! Стоило ему отлучиться, и унылым становился наш очаг, у нас пропадал вкус к еде. А что же будет теперь, когда нашего ангела-хранителя зароют в землю и мы больше не увидим его? Никогда, друзья мои! Никогда, любезные мои родственники! Никогда,

дети мои! Да, доброго отца утратили дети мои, родственники утратили доброго родственника, друзья мои утратили доброго друга, а я — я утратила все, как дом наш, утративший хозяина!

Она взяла руку умершего, встала на колени, чтобы покрепче прижаться к ней лицом, и поцеловала ее. Работники трижды возгласили:

— Умер хозяин!

В эту минуту к матери подошел старший сын и сказал:

— Матушка, пришли из Сен-Лорана, надобно поднести им вина.

— Сынок, — ответила она тихо, но уже не тем торжественным и скорбным голосом, которым выражала свои чувства, — возьми ключи, отныне ты хозяин в доме, позаботься, чтобы они встретили здесь такой же прием, как раньше при твоем отце, пусть им кажется, будто ничего не изменилось… Еще раз вдоволь бы насмотреться на тебя, достойный муж мой, — продолжала она. — Но увы! Ты уже не чувствуешь прикосновения моего, не согреть мне тебя! Ах, единственное мое желание — в последний раз утешить тебя: знай, пока я жива, ты будешь пребывать в сердце, которому дарил радости, я буду счастлива воспоминаниями о днях блаженства, дорогой твой образ будет

жить в этой комнате. Да, ты будешь здесь, покуда меня не призовет господь. Дорогой супруг мой, услышь меня! Клянусь сохранить ложе твое таким, какое оно есть. Всегда разделяла я его с тобою, пусть же теперь будет оно одиноким и холодным. Теряя тебя, я поистине теряю все то, чем живет женщина, — хозяина дома, супруга, отца, друга, спутника, возлюбленного — словом, все.

— Умер хозяин! — возгласили работники.

При этом возгласе, подхваченном всеми, вдова взяла ножницы, висевшие на ее поясе, срезала длинную прядь своих волос и вложила ее в руку умершего. Воцарилась глубокая тишина.

— Поступок этот означает, что она больше не выйдет замуж, — сказал Бенаси. — Родственники ждали ее решения.

— Возьми же, любезный повелитель мой! — сказала вдова с таким душевным волнением в голосе, что тронула все сердца. — Храни в могиле залог верности, в которой я поклялась тебе. Теперь мы соединены навеки, и я не покину детей твоих из любви к твоему потомству, близ которого ты молодел душою. Услышь меня, муж мой, единственное сокровище мое, узнай, что ты и мертвый повелеваешь мне жить и повиноваться твоей священной воле и прославлять память

о тебе!

Доктор взял Женеста за руку, приглашая его следовать за собою, и они вышли. В первой комнате было полно людей, прибывших из соседней горной общины, все были молчаливы и сосредоточенны, точно печаль и скорбь, витавшие над домом, успели охватить и их. Едва Бенаси и офицер перешагнули порог, как услышали, что кто-то спросил сына умершего:

— Когда же он преставился?

— Да ведь я-то и не видел, как он отошел, — воскликнул молодой человек лет двадцати пяти — старший сын умершего. — Он звал меня, а я был далеко!

Рыдания прервали его слова, но он продолжал:

— Накануне он сказал мне: «Сынок, отправляйся-ка в село, надо уплатить налоги; пока будете справлять по мне похоронные обряды, время уйдет, а нам еще опаздывать не случалось». Ему словно бы стало получше, ну я и пошел. Он умер без меня, а ведь я никогда с ним не разлучался.

— Умер хозяин! — все возглашали работники.

— Увы! Он умер, и не ко мне были обращены его предсмертные взгляды, не я принял его последний вздох. И как можно было думать о налогах? Пусть бы все деньги пропали, — нельзя было уез-

жать из дома! Да разве всем состоянием нашим возместишь его последнее прости? Нет! Господи боже мой! Если отец твой болен, не отходи от него, Жан, иначе тебя замучит совесть.

— Послушайте, друг, — сказал ему офицер, — я видел, как на поле битвы умирали тысячи людей, и смерть не ждала, пока их дети придут проститься с ними; утешьтесь же, вы не единственный!

— Но у меня, сударь, был такой отец, — возразил парень, — такой добрый отец!

— Причитания, — заметил Бенаси, идя с Женеста к службам фермы, — не прекратятся до тех пор, покуда тело не положат в гроб, и все горше, все образнее будут речи безутешной вдовы. Но только беспорочной жизнью может женщина завоевать себе право говорить перед столь внушительным сборищем. Если бы вдова была повинна хоть в одном проступке, то не осмелилась бы произнести ни слова, иначе ей пришлось бы стать и обвинителем своим и своим судьей. Разве не прекрасен этот обычай, когда перед судилищем предстают и мертвый и живой? Траурные одежды она наденет лишь неделю спустя, когда все снова соберутся. Эту неделю родственники проведут с детьми и вдовой, помогут им уладить дела, будут утешать их.

И это благотворно действует на умы, сдерживает дурные страсти, потому что люди, находясь вместе, боятся навлечь на себя осуждение ближнего. Наконец в тот день, когда надеваются траурные одежды, устраивают торжественную трапезу, после чего родственники разъезжаются. Всему этому придают большое значение, и никто бы не пришел на похороны человека, который не отдал последнего долга умершему главе семьи.

В эту минуту они подошли к службам, доктор открыл дверь в хлев, чтобы показать офицеру, как устроены стойла.

— Знаете, капитан, все наши хлева были переделаны по такому образцу. Превосходно, не правда ли?

Женеста изумился, увидев просторное помещение, — коровы и быки стояли в два ряда, хвостом к стенам, а головой к середине хлева, между рядами стойл оставался довольно широкий проход: сквозь деревянные решетки виднелись рогатые головы животных, их блестящие глаза. Хозяин одним взглядом мог окинуть весь свой скот. Корм простым способом и без потерь сбрасывали по особому настилу из надстройки прямо в ясли. Вымощенный пол в проходе между стойлами был чисто выметен, хлев хорошо проветривался.

— Зимой, — рассказывал Бенаси, прохаживаясь с Женеста по хлеву, — здесь устраиваются посиделки и люди работают вместе. Расставляются столы, и все греются даром. Овчарни выстроены по такому же образцу. Вы не поверите, до чего быстро скотина привыкает к порядку; я частенько наблюдал, как стадо возвращается домой. Каждая корова знает свой черед и непременно пропустит ту, которой полагается пройти первой. Посмотрите! В стойлах достаточно места — можно и подоить и почистить корову; пол же идет наклонно, поэтому нечистоты быстро стекают прочь.

— По хлеву можно судить об остальном, — заметил Женеста. — Без лести скажу вам: вот превосходные плоды ваших трудов.

— Нелегко было достичь этого, — ответил Бенаси, — зато какой скот!

— Отменный, и вы не зря его расхваливали, — подтвердил офицер.

— Ну, а теперь, — продолжал доктор, когда они сели на лошадей и выехали за ворота, — поедем проселком через поднятую новь и хлебные поля, по тому уголку нашей общины, который я назвал

Босской долиною[5].

Около часа всадники ехали полями, возделанными отлично, с чем Женеста и поздравил доктора; то разговаривая, то умолкая, смотря по тому, позволял ли бег лошадей говорить или вынуждал замолчать, они обогнули гору и возвратились на земли, примыкавшие к селению.

— Вчера, — сказал Бенаси, обращаясь к Женеста, после того как они проехали ущельице, которое вывело их в большую долину, — я обещал показать вам солдата, вернувшегося из армии после падения Наполеона. Сдается мне, мы должны встретить его в нескольких шагах отсюда, он выгребает наносную землю, накопившуюся в естественном водоеме, куда стекают ручьи с гор. Не мешает рассказать о жизни этого человека, чтобы привлечь к нему ваше любопытство. Фамилия его — Гондрен. Восемнадцати лет от роду, в тысяча семьсот девяносто втором году, во время всеобщего набора в войска, он был зачислен в артиллерию. Он — простой солдат, участник итальянских походов Наполеона, был и в Египте, вернулся с Востока после заключения Амьенского мира, затем в дни Империи его перевели в полк

---

[5] Примечания: 5

Босская долина — сельскохозяйственный район к югу от Парижа, известный своим плодородием.

гвардейских понтонеров, и он долго находился в Германии. Под конец бедного малого послали воевать с Россией.

— Мы почти собратья, — сказал Женеста, — я ведь участник тех же походов. Надобно было иметь железное здоровье, чтобы вынести причуды столь различных климатов. Честное слово, господь бог выдал патент на жизнь тем, кто исходил Италию, Египет, Германию, Португалию и Россию и еще держится на ногах!

— Вот вы и увидите настоящего молодца, — продолжал Бенаси. — Вы-то знаете, что такое разгром, незачем вам о нем рассказывать. Старый наш солдат был в числе тех понтонеров, что возводили мост через Березину, по которому прошла армия; чтобы укрепить первые устои, он залез по пояс в воду. У генерала Эбле, командовавшего понтонерами, нашлось, по словам Гондрена, лишь сорок два смельчака, которые взялись за это дело. Сам генерал тоже вошел в воду и подбодрял, утешал их, суля каждому тысячефранковую пенсию и орден Почетного легиона. У того, кто первым вошел в Березину, льдиной оторвало ногу; вслед за ногой унесло и самого понтонера. Да вы сразу поймете, чего стоило все это предприятие, узнав, чем оно завершилось: из сорока двух

понтонеров в живых остался лишь один Гондрен. Тридцать девять погибло при переходе через Березину, двое зачахли в польских лазаретах. А наш бедняга солдат выбрался из Вильны только в тысяча восемьсот четырнадцатом году, после возвращения Бурбонов. Генерал Эбле, о котором Гондрен не может говорить без слез, умер. Оглохшему, немощному, неграмотному понтонеру негде было искать поддержки и защиты. Он добрался до Парижа, питаясь подаянием, и стал обивать пороги канцелярий военного министерства, пытаясь выхлопотать не то что обещанную тысячефранковую пенсию или орден Почетного легиона, а просто увольнение в запас, — на это он имел полное право после двадцатидвухлетней службы и бог знает скольких походов; но он не добился ни жалования, полагавшегося ему за эти годы, ни оплаты дорожных расходов, ни пенсии. Год прошел в бесплодных мытарствах, понтонер тщетно просил о помощи всех, кого когда-то спас, — и вот он вернулся сюда, отчаявшись и покорившись своей участи. Теперь этот безвестный герой копает канавы, получает десять су за туаз. Он привык работать в топях и, как выражается сам, «взял подряд на такое дельце», за которое не возьмется ни один чернорабочий. Он осушает

болота, проводит канавы в заливных лугах и зарабатывает франка три в день. Глухота придает его лицу несколько угрюмое выражение, он не болтлив от природы, но человек он душевный! Мы с ним закадычные приятели. Он обедает у меня в дни годовщины Аустерлицкой битвы, тезоименитства императора и разгрома при Ватерлоо; после обеда я вручаю ему наполеондор, этого хватает ему на три месяца — на вино. Чувство уважения, которое я питаю к старому солдату, разделяет вся община; все были бы рады кормить его. Работает он только из гордости. В любом доме по моему примеру ему оказывают почет и приглашают отобедать. Мне удалось всучить ему двадцатифранковую монету только под тем предлогом, что на ней портрет императора. Несправедливость по отношению к нему глубоко оскорбила его, но он гораздо больше горюет, что не получил ордена Почетного легиона, нежели пенсию. Есть у него одно утешение: когда генерал Эбле, после постройки мостов, представлял императору уцелевших понтонеров, Наполеон прижал к сердцу бедного нашего Гондрена; может статься, если бы не ласка императора, он бы давным-давно умер; он живет этим воспоминанием и надеждой на возвращение Наполеона,

никто не убедит его в том, что император умер; он уверен, что Наполеон томится в плену по милости англичан, и, по-моему, не задумался бы по самому пустячному поводу убить почтеннейшего из олдерменов, путешествующих для собственного развлечения.

— Едем! Едем! — воскликнул Женеста, словно пробуждаясь, так сосредоточенно слушал он доктора. — Едем поскорее, мне хочется его увидеть.

И оба всадника пустили лошадей крупной рысью.

— Второй солдат, — снова заговорил Бенаси, — тоже один из тех железных людей, которые провели жизнь в походах. Жил он, как все французские солдаты, перестрелками, сражениями, победами; он много выстрадал и не носил иных погон, кроме суконных. Нрав у него веселый, он боготворит Наполеона, вручившего ему орден Почетного легиона на поле битвы под Валутиной. Как и подобает уроженцу Дофине, он всегда и во всем соблюдал порядок, поэтому сейчас получает пенсию и прибавку за орден. Этот пехотинец, по фамилии Гогла, в тысяча восемьсот двенадцатом году вступил в наполеоновскую гвардию. Он в некотором роде экономка Гондрена; живут они вместе у вдовы одного разносчика, которой и вру-

чают все свои деньги; добрая старушка дает им приют, кормит их, одевает, заботится о них, как о близких родных. Гогла — деревенский почтарь. Должность у него такая, что он знает все новости в кантоне и так привык их пересказывать, что сделался присяжным говоруном на посиделках, прослыл краснобаем; Гондрен считает его великим остроумцем, тонкой бестией. Когда Гогла говорит о Наполеоне, понтонер будто понимает его просто по движению губ. Если сегодня вечером, как обычно, устроят посиделки в одном из моих сараев и если нам удастся пробраться незамеченными, то я вас развлеку любопытным зрелищем. Вот и канава, да что-то нет приятеля моего понтонера.

Доктор и офицер внимательно огляделись, но лишь лопата, кирка, тачка да солдатская куртка Гондрена валялись рядом с кучей черной земли, а самого Гондрена не было видно на каменистых тропах или, вернее, в извилистых рытвинах, почти сплошь поросших мелким кустарником, по которым стекали вешние воды.

— Он где-то поблизости. Эй, Гондрен! — крикнул Бенаси.

Тут Женеста заметил, что сквозь листву кустов, заслонивших осыпь, пробивается табачный дым,

и указал на него доктору; тот крикнул еще раз. Немного погодя старик понтонер высунул голову, узнал мэра и спустился по узкой тропинке.

— Ну, старина! — закричал ему Бенаси, приложив ладонь к губам наподобие рупора, — вот твой собрат, египтянин, он хочет познакомиться с тобой.

Гондрен живо поднял голову и окинул Женеста испытующим и пристальным взглядом, взглядом старого солдата, привыкшего взвешивать опасность. Увидев красную орденскую ленточку, он молча отдал офицеру честь.

— Был бы маленький капрал жив, — крикнул ему Женеста, — получил бы ты орден и отменную пенсию, ведь ты спас жизнь тем, кто по сей час носит эполеты и кто успел переправиться на другой берег первого октября тысяча восемьсот двенадцатого года. Жаль, дружище, — добавил офицер; он спешился и в приливе сердечных чувств пожал Гондрену руку, — жаль, что я не военный министр.

Старик понтонер, услышав эти слова, встрепенулся, но тут же понурил голову, не спеша выбил пепел из трубки, спрятал ее и только тогда сказал:

— Я-то выполнил свой долг, господин офицер, а

вот другие не выполнили, не уважили меня. Бумаг потребовали! «Какие еще там бумаги? — говорю я им. — Двадцать девятый бюллетень[6] — вот мои бумаги!»

— Требуй снова, приятель. Теперь, заручившись покровительством, ты наверняка добьешься справедливости.

— Справедливости? — крикнул старый понтонер с таким выражением, что врач и офицер вздрогнули.

Водворилось молчание, оба всадника смотрели на этот обломок железного легиона солдат, отобранных Наполеоном из трех поколений. Гондрен был поистине образцовым представителем неколебимой громады, которая была сломлена, но не сдалась. Ростом старик был всего пяти футов, но очень широк в груди и плечах, а его обветренное, морщинистое, худое лицо с желваками мускулов хранило следы воинственности. Вид у него был суровый, лоб будто высечен из камня, редкие седые пряди волос свисали как-то беспомощно, словно истомленной голове его уже не хватало жизненной силы; руки, волосатые, как и грудь,

[6] Примечания: 6

Двадцать девятый бюллетень — обращение Наполеона к армии, в котором говорилось о трудностях отступления из России; издан Наполеоном в Молодечно в 1812 г.

видневшаяся из расстегнутого ворота холщовой рубахи, свидетельствовали о редкостной силе. При этом он крепко, как на несокрушимом постаменте, стоял на своих кривых ногах.

— Справедливости? — повторил он. — Не для нашего она брата! У нас нет судебных приставов, некому взыскать то, что нам полагается. Ну, а барабан-то набивать нужно, — добавил он, хлопнув себя по животу, — так ждать-то нам некогда. Посулами чинуш, которые в канцелярии пригрелись, сыт ведь не будешь, вот я и вернулся сюда жалованье из общего капитала получать, — сказал он, ударяя лопатой по грязи.

— Этого нельзя потерпеть, старый товарищ, — сказал Женеста. — Я жизнью тебе обязан и был бы неблагодарной тварью, если б не протянул тебе руку помощи. Я-то помню, как переходил по мостам через Березину, и знаю славных ребят, которые тоже об этом не забыли. Они посодействуют мне, и отечество вознаградит тебя, как ты того заслуживаешь.

— Бонапартистом прослывете! Лучше и не вмешивайтесь, господин офицер. Да уж все равно, я притопал в тыл и зарылся в землю, как неразорвавшееся ядро. Только не рассчитывал я, проехав на верблюде пустыню да пригубив вина

возле огня московских пожаров, кончить дни под деревьями, посаженными моим родителем, — сказал он, вновь приступая к работе.

— Бедный старик, — промолвил Женеста, — на его месте я поступил бы так же; нет у нас больше нашего отца. Сударь, — сказал он врачу, — покорность этого человека наводит на меня мрачное уныние; он не знает, какое участие возбудил во мне, и, верно, принимает меня за одного из тех негодяев в раззолоченных мундирах, которым дела нет до солдатских нужд.

Он круто повернул назад, схватил понтонера за руку и крикнул ему прямо в ухо:

— Клянусь орденом, который я ношу и который в другие времена был знаком чести, сделаю все, что под силу человеку, и добьюсь тебе пенсии, хотя бы мне пришлось проглотить целую кучу отказов от министра, хлопотать перед королем, дофином и всей их братией!

Старик Гондрен вздрогнул, услышав эти слова, глянул на Женеста и сказал:

— Выходит, и вы были простым солдатом?

Офицер кивнул. Тогда Гондрен отер ладонь, взял руку Женеста и, горячо пожав ее, сказал:

— Господин генерал, я влез тогда в воду, чтобы жизнь отдать ради армии; мне, выходит, повезло,

раз я все еще держусь. Послушайте, сударь, как на духу вам скажу: с той поры, как *его* оттерли, все мне осточертело. Ну что ж, зачислили они меня вот сюда, — с усмешкой добавил он, указывая на землю, — тут я и получаю двадцать тысяч франков долгу, как говорится, в рассрочку.

— Полно, дружище, — сказал Женеста, потрясенный великодушием и всепрощением Гондрена, — но уж этот дар ты не откажешься принять от меня.

С этими словами офицер показал себе на грудь, посмотрел на понтонера, вскочил на лошадь и вновь поскакал рядом с Бенаси.

— Жестокость властей разжигает войну бедных против богатых, — сказал доктор. — Люди, которым на какое-то время доверена власть, никогда серьезно не задумывались о неизбежных последствиях несправедливости, учиненной по отношению к народу. Правда, бедняк, принужденный зарабатывать себе на хлеб насущный, борется недолго, но он говорит, он находит отклик во всех страждущих сердцах. Беззаконие, от которого пострадал кто-нибудь один, помножается на число тех, кто негодует против этого беззакония, и закваска начинает бродить. Это еще пустяки, но отсюда вытекает большее зло. Нес-

праведливые поступки поддерживают в народе глухую ненависть к верхам общества. Поэтому-то буржуа — враг бедняка, и тот ставит его вне закона, обманывает и обворовывает. Воровство для бедняка уже не преступление, не злодеяние, а месть. Если правитель, вместо того чтобы поступать справедливо, обращается с маленькими людьми дурно, попирая права, приобретенные ими, как же требовать, чтобы голодные, обездоленные люди проявляли покорность своей доле и уважали чужую собственность? Я содрогаюсь при мысли, что тысячефранковая пенсия, обещанная Гондрену, перепала канцелярской крысе, все дело которой — сметать пыль с бумаг. И после этого иные люди, даже не представляющие себе, как непомерно бывает горе, обвиняют народ в непомерной мстительности! Если же правительство принесло людям больше личного горя, нежели благосостояния, свержение его становится лишь делом случая; свергая его, народ по-своему сводит счеты. Государственный деятель всегда должен рисовать себе бедняков под покровом правосудия: оно создано только для них!

Когда они ехали уже по самому селению, Бенаси приметил на дороге двух путников и сказал офицеру, погруженному в раздумье:

— Вы видели, как безропотно сносит нужду служака наполеоновской армии, сейчас увидите безропотного старика земледельца. Всю жизнь человек этот копал, обрабатывал, сеял и собирал для других.

Тут и Женеста заметил, что по дороге бредет дряхлый старик, а рядом с ним — старуха. У старика, видимо, свело суставы, он плелся, с трудом волоча ноги, обутые в сношенные сабо. С плеча свисала котомка, из нее торчали инструменты, тихонько постукивали их рукоятки, почерневшие от долгого употребления и пота; в другом отделении котомки лежал хлеб, несколько луковиц, орехи. Ноги старика были искривлены. Он сгорбился от вечной работы и шел, согнувшись в три погибели, а чтобы удержать равновесие, опирался на длинную палку. Белые, как снег, волосы выбивались из-под широкополой шляпы, заштопанной суровыми нитками и порыжевшей от превратностей погоды. Одежда из грубого холста пестрела всеми цветами радуги от бесчисленных заплат. То была, так сказать, человеческая развалина, со всеми особенностями, которые вообще присущи развалинам и так трогают нас. Жена, в каком-то нелепом чепце и тоже в лохмотьях, держалась попрямее и тащила на спине плоский

глиняный кувшин овальной формы, висевший на ремне, продетом сквозь ручки. Заслышав конский топот, пешеходы подняли головы, узнали Бенаси и остановились. Горько было смотреть на них — на старика, изувеченного работой, и его неразлучную спутницу, тоже калеку, на их лица, почерневшие от солнца, загрубевшие от непогоды и до того морщинистые, что все черты их были словно стерты. Если история жизни этих стариков не была бы запечатлена на их лицах, вы угадали бы ее по всему их виду. Оба весь свой век непрерывно работали вместе и весь свой век непрерывно страдали; делили друг с другом много горестей, но мало радостей; они, видно, свыклись со своей злою долей, как узник свыкается с темницей; все в них было само чистосердечие. Их лица светились добротой и искренностью. Стоило с ними познакомиться поближе, и однообразная жизнь их — удел бедняков — казалась чуть ли не завидной. Все черты их говорили о пережитых страданьях, но не выражали уныния.

— Ну как, папаша Моро, все еще непременно хотите работать?

— Да, господин Бенаси. Пока не протянул ноги, распашу вам еще две-три вересковых пустоши, — шутливо отозвался старик, и черные глазки его

сверкнули.

— Уж не вино ли несет ваша жена? Хоть вино попивайте, если на покой не собираетесь.

— На покой! Вот скучища-то! Когда расчищаешь новь на солнце, от солнца да воздуха сил набираешься. А это и впрямь вино, сударь, я ведь знаю, вашими стараниями мы его почти задаром получаем у господина куртейльского мэра! Э! Да как ни хитрите, а нас не проведете.

— Ну, прощайте. Наверное, на участок Шанферлю идете, матушка?

— Да, сударь, вчера под вечер начали.

— Желаю удачи, — сказал Бенаси. — А ведь вам, должно быть, приятно поглядеть на гору: сами вспахали ее почти целиком.

— Еще бы, сударь, — ответила старуха. — Наш труд. Мы-то заработали право на кусок хлеба!

— Видите, — сказал Бенаси, обращаясь к офицеру, — труд, обработка земли — вот какова государственная рента бедняков. Богадельню или нищенство старик счел бы позором для себя; ему хочется умереть с мотыгой в руках, в открытом поле, под солнцем. Право же, мужественный старик! Он всегда работал, и работа постепенно стала его жизнью, но и смерть ему не страшна — у него, хоть сам он того и не подозревает, глубоко

философские взгляды. Именно он, старик Моро, навел меня на мысль основать в кантоне убежище для земледельцев, для батраков, — словом, для всех тех честных крестьян, которые, проработав всю жизнь, на старости лет нищи и наги. Сударь, я не рассчитывал приобрести здесь состояние, мне оно совсем не нужно. Много ли требуется человеку, который утратил все надежды? Дорого обходится только жизнь бездельников, и, пожалуй, потреблять, ничего не производя, — это просто социальное воровство. Наполеон, узнав после своего падения о спорах, возникших по поводу расходов на его содержание, говорил, что нужен ему только конь да одно экю в день. Я отказался от денег, когда поселился здесь, но с тех пор я узнал, как могущественны деньги, узнал, как они необходимы, если хочешь делать добро. Итак, я завещал свой дом под убежище, где несчастные бездомные старики, не такие гордецы, как Моро, будут проводить остаток дней своих. Затем кое-что из девяти тысяч франков дохода, который мне приносят моя земля и мельница, пойдет на то, чтобы поддержать суровой зимой самые неимущие семьи в кантоне. Учреждение это будет находиться под надзором муниципального совета, но во главе его в качестве попечителя я

хочу поставить кюре. Таким образом, состояние, случайно приобретенное мною здесь, в кантоне, не уйдет отсюда. Устав убежища дан в моем завещании. Подробный рассказ об этом, конечно, вам наскучит, но мне хочется подчеркнуть, что предусмотрел я все, даже создал запасный денежный фонд, чтобы община имела возможность платить за обучение детей, подающих надежды в ремеслах или науках. Итак, дело цивилизации, начатое мною, будет продолжаться и после моей смерти. Видите ли, капитан Блюто, когда затеешь что-нибудь хорошее, душа не позволяет оставить его незавершенным. Стремление к порядку и совершенствованию — самый верный залог лучшего будущего. Поспешим, пора закончить объезд, а мне надо еще посетить пять-шесть больных.

Некоторое время они ехали молча, потом Бенаси со смехом обратился к своему спутнику:

— Хорош же я, капитан Блюто, поддался вашим расспросам, трещу, как сорока, а вы и словечком не обмолвились о своей жизни, меж тем она, должно быть, прелюбопытна. Солдат, достигший ваших лет, столько всего перевидал на своем веку, ему есть о чем порассказать.

— Да что же рассказывать, — отвечал Женеста, — моя жизнь — это жизнь армии. Все

военные на один лад. Я не имел больших чинов, а был из тех вояк, чье дело наносить или получать удары саблей, и поступал так, как поступают другие. Шел туда, куда вел нас Наполеон, был на передовой во всех битвах, где отличалась императорская гвардия. Дела, всем известные. Ходить за лошадьми, иной раз мучиться от голода и жажды, а когда нужно — драться, в этом вся жизнь солдата. Проще простого. Бывает, что для нашего брата исход сражения зависит от того, хорошо ли подкован конь, — иначе недолго попасть в беду! А в общем, перевидал я столько стран, что они в конце концов примелькались, видел столько смертей, что и свою жизнь ни во что не ставлю.

— Однако доводилось же и вам попадать в затруднительное положение, и об опасностях, угрожавших вам лично, было бы любопытно послушать.

— Пожалуй, — ответил офицер.

— Расскажите мне о случае, который вам особенно запомнился. Да не бойтесь! Я не подумаю, что вам недостает скромности, даже если вы расскажете о каком-нибудь своем героическом поступке. Когда человек уверен, что его поймут те, кому он доверяется, ему приятно сказать: «Да, это совершил я!»

— Ну, так и быть. Расскажу вам об одном престранном случае, — иной раз меня совесть из-за него грызет. За все пятнадцать лет, пока мы сражались, я убивал людей только в порядке законной защиты. Мы на передовой, мы нападаем; перед нами неприятель, и если мы его не опрокинем, он не станет просить у нас позволения и пустит нам кровь: значит, убивай, чтобы тебя не уничтожили, и совесть спокойна. Но, сударь мой, мне довелось наповал уложить одного молодчика при весьма необычных обстоятельствах. Больно сжалось у меня сердце, когда я поразмыслил о своем поступке, а искаженное лицо убитого и теперь частенько всплывает передо мною. Судите сами… Дело было во время отступления из Москвы. Какая уж там великая армия! Мы скорее смахивали на стадо заморенных быков. Прощай дисциплина и знамена! Каждый был себе господином, а император, можно сказать, тут-то и узнал, что власти его положен предел. Ввалились мы в Студянку, деревушку за Березиной, набрели на овины, на покосившиеся лачуги, на картошку и свеклу, зарытые в землю. Давненько нам не попадалось ни жилья, ни еды, а тут прямо раздолье. Первые, сами понимаете, съели все. Я пришел одним из последних. К счастью, так клонило ко

сну, что было не до еды. Попадается мне на глаза овин, вхожу — смотрю, человек двадцать генералов, офицеров, высших чинов, все люди, что и говорить, заслуженные; тут Жюно, Нарбонн, адъютант императора — словом, вся верхушка армии. Были тут и простые солдаты, да они не уступили бы своей подстилки самому маршалу Франции. Местечка не было свободного, кто спал стоя, прислонившись к стене, кто прикорнул на земле; а чтобы потеплее было, все так тесно прижались друг к другу, что я тщетно искал, где бы и мне примоститься. Пришлось шагать прямо по настилу из человеческих тел; одни ругались, другие молчали, но не подвинулся никто. Тут никто бы не шевельнулся, даже чтоб увернуться от пушечного ядра, тем более было не до правил пустой светской учтивости. Замечаю под крышей овина какие-то полати; ни у кого не хватило смекалки, а может быть и сил, забраться туда; влезаю, укладываюсь и, растянувшись во весь рост, смотрю на людей — лежат все вповалку. Печальное было зрелище, но я чуть не расхохотался. Кое-кто с жадностью глодал мерзлую морковь, а генералы укутались в дырявые платки и храпели вовсю. Горела еловая лучина, освещая овин; случись пожар — никто бы не встал тушить. Ложусь

на спину, но, прежде чем заснуть, невзначай поднимаю глаза и вижу, что балка, которая подпирает крышу и поддерживает слеги, тихонько раскачивается с востока на запад. Так и пляшет проклятая балка. «Господа, говорю, какой-то молодчик на дворе хочет за наш счет обогреться». Балка вот-вот упадет. «Господа, господа, мы сейчас погибнем, взгляните на балку!» — крикнул я во весь голос, чтобы разбудить товарищей по ночлегу. Сударь, на балку они поглядели, но тот, кто спал, снова заснул, а кто ел, даже не отозвался. Ну-с, пришлось вскочить с нагретого местечка, хоть его и могли занять у меня на глазах, но дело ведь шло о спасении целой кучи знаменитостей. Выхожу, огибаю овин и вижу: рослый парень — вюртембержец старательно вытаскивает балку. «Эй, эй!» — кричу я и знаками даю ему понять — бросай, значит, работу. А он орет: «Geh mir aus dem Gesicht, oder ich schlag dich todt!»[7] — «Ах, так! Ке мир аус дем гезит[8], — отвечаю я. — Как бы не так!» Хватаю его ружье — оно валялось на земле, — наповал укладываю немца, возвращаюсь и засыпаю. Вот и все.

---

[7] Примечания: 7
Ступай прочь, не то я тебя убью (*нем.*).

[8] Примечания: 8
Ступай прочь (неправильный *нем.*).

— Но это — случай законной защиты от одного для блага многих; значит, вам не в чем себя упрекать, — заметил Бенаси.

— А все эти господа вообразили, — продолжал Женеста, — что на меня напала блажь; но блажь ли, нет ли, а многие из них теперь живут в свое удовольствие в расчудесных особняках и не обременяют свои сердца благодарностью.

— Уж не сделали ли вы добро в расчете на те непомерные барыши, которые именуются благодарностью, а? — посмеиваясь, сказал Бенаси. — Это ведь то же, что ростовщичество.

— Да я прекрасно знаю, — ответил Женеста, — что вся ценность доброго поступка теряется, как только извлечешь из него выгоду, и рассказывать о нем — значит взимать проценты в пользу самолюбия, а это почище всякой благодарности. Однако если честный человек будет помалкивать, то должник его и подавно не заикнется об оказанном благодеянии. При вашей системе управления народ нуждается в примерах; спрашивается, где бы он нашел их при всеобщем молчании? Между прочим, бедному нашему понтонеру, спасшему французскую армию, и в голову не приходило, что, разболтав об этом, он извлек бы выгоду для себя. Ну, а если бы он стал

калекой, разве совестливостью он добыл бы себе кусок хлеба?.. Ответьте-ка, философ!

— Да, пожалуй, в области морали все относительно, — сказал Бенаси. — Но мысль эта опасна, она позволяет тем, кто склонен к эгоизму, толковать вопросы совести в интересах личной выгоды. Послушайте, капитан, разве человек, неукоснительно повинующийся принципам морали, не выше того, кто отклоняется от них, даже по необходимости? И если бы наш понтонер был немощным и умирал с голоду, разве он не уподобился бы величием Гомеру? Жизнь человеческая, несомненно, является окончательным испытанием и добродетели и гениальности, одинаково нужных для лучшего мира. Добродетель, гениальность представляются мне прекраснейшим олицетворением того полного и постоянного самопожертвования, пример которого показал людям Иисус Христос. Гений пребывает в бедности, просвещая мир, человек добродетельный хранит молчание, жертвуя собою для общего блага.

— Согласен, сударь, — заметил Женеста, — но земля населена людьми, а не ангелами; мы далеки от совершенства.

— Конечно, — ответил Бенаси, — о себе скажу,

что я жестоко злоупотреблял правом ошибаться. Но мы должны стремиться к личному совершенствованию. Добродетель — высокий идеал для души, и его надлежит постоянно созерцать как божественный образец.

— Аминь, — сказал офицер. — Пусть так, человек добродетельный — великая ценность, но согласитесь, что добродетель — это божество, которое может разрешить себе чуточку поболтать, попросту, без задней мысли.

— Ах, сударь, — сказал доктор, горько и печально улыбаясь, — вы снисходительны, как те, кто живет в мире с собою, я же суров, как человек, который знает, что ему немало пятен надобно стереть со своего прошлого.

Всадники подъехали к хижине, стоящей у ручья. Доктор вошел в лачугу. Женеста с порога то любовался весенним ландшафтом, то заглядывал в хижину, где лежал в постели какой-то человек. Осмотрев больного, Бенаси вдруг закричал:

— Незачем мне и приходить сюда, матушка, все равно вы не исполняете моих предписаний. Накормили мужа хлебом. Уморить вы его задумали, что ли? Возмутительно! Если вы дадите ему еще что-нибудь, кроме отвара пырея, ноги моей здесь больше не будет, ищите тогда доктора,

где хотите!

— Да как же, сударь! Ведь бедный мой старик криком кричал от голода, а если в утробе ни крошки нет вот уже вторую неделю…

— Будете вы меня слушать или нет? Вы уморите мужа, если позволите ему съесть хоть кусочек хлеба, пока я не разрешу, поняли?

— Больше ни крошки не дам, сударь… Ну как, на поправку идет дело? — спросила она, провожая доктора.

— Да нет, он поел, ему и стало хуже. Как вам втолковать, упрямая вы голова, что нельзя так кормить больного, когда ему нужна диета? Крестьяне неисправимы, — прибавил Бенаси, обращаясь к офицеру. — Стоит больному несколько дней не поесть, как они считают, что он уже не жилец на белом свете, и пичкают его похлебкой, поят вином. Вот и эта умница чуть было не уморила мужа.

— Будто так муженек и умрет от ломтика хлеба, смоченного в вине!

— Вот именно, матушка. Удивительно, что я застал его в живых после этого самого ломтика хлеба. Не забудьте: надо исполнять все точно, как я сказал.

— Умереть мне на месте, ежели что не так

сделаю.

— Ну, посмотрим. Приду завтра вечером, пущу ему кровь. Пойдем пешком вдоль ручья, — сказал Бенаси офицеру, — отсюда до того дома, куда мне надо, нет проезжей дороги. Сынишка больного покараулит тут лошадей. Полюбуйтесь-ка на нашу прелестную долину, — продолжал он, — не правда ли, точь-в-точь английский сад? Сейчас зайдем к одному работнику — он безутешен после смерти старшего сына. В прошлом году его сын, подросток, вздумал во время жатвы поработать за взрослого, надорвался, бедняга, и к концу осени зачах и умер. Впервые я встречаю здесь такое сильное отцовское чувство. Обычно крестьяне горюют о смерти детей, как об утрате части своего имущества, и сожаления соразмерны возрасту ребенка. Возмужав, сын становится капиталом для отца. Но этот бедняк по-настоящему любил сына. «Нет мне утешения в моей потере», — сказал он однажды, когда я встретил его на лугу, — он стоял неподвижно, забыв о работе, опершись на косу и держа в руке оселок, — собрался точить и задумался. Больше он ни разу не говорил со мной о своем горе и страдал молча. А теперь расхворалась одна из его дочурок.

Продолжая разговаривать, Бенаси и его гость

подошли к хижине, приютившейся у плотины дубильного заводика. Под ивой стоял человек лет сорока и ел хлеб, натирая его чесноком.

— Ну как, Ганье, девочке получше?

— Не знаю, сударь, — сказал он хмуро, — сами увидите, жена не отходит от нее. Хоть и очень вы стараетесь, а я боюсь, что смерть как вошла ко мне в дом, так все у меня и отнимет.

— Смерть ни у кого не засиживается, Ганье, у нее нет времени. Не падайте духом.

И Бенаси последовал за ним в дом. Полчаса спустя он вышел с матерью девочки, говоря:

— Не тревожьтесь, делайте, что я посоветовал, она спасена… Ежели все это вам наскучило, — обратился он затем к офицеру, вскакивая на коня, — я выведу вас на дорогу к нашему селению, и вы вернетесь домой.

— Нет, честное слово, мне не скучно.

— Но повсюду будут одни и те же хижины; с виду нет ничего однообразнее деревни.

— В путь! — сказал офицер.

Несколько часов ездили они по кантону, объехали его вдоль и поперек, а к вечеру повернули в сторону селения.

— Теперь мне нужно побывать вон там, — сказал доктор, показывая офицеру на высокие

вязы. — Деревьям этим, вероятно, лет двести, — прибавил он. — Там живет женщина, к которой меня вчера, когда мы обедали, звал паренек, сказав, что она побледнела.

— Что-нибудь опасное?

— Да нет, — сказал Бенаси, — явления, сопутствующие беременности. Она на последнем месяце. В это время у некоторых женщин бывают судороги. Но все-таки из осторожности надо посмотреть, нет ли чего, внушающего опасения; я сам буду принимать у нее ребенка. Кстати, вы сейчас увидите самое новое у нас промышленное предприятие — черепичный завод. Дорога великолепная, хотите, пустим лошадей галопом?

— Да вряд ли ваша лошадь угонится за моей, — заметил Женеста, крикнув коню: «Вскачь, Нептун!»

В мгновение ока Женеста опередил доктора шагов на сто и исчез в вихре пыли; но, хотя его лошадь и мчалась во всю прыть, он все время слышал, что доктор скачет тут же рядом. Вот Бенаси что-то сказал своему коню и тотчас же перегнал офицера, который настиг его лишь у черепичного завода, когда Бенаси как ни в чем не бывало привязывал лошадь к плетню.

— Черт подери! — воскликнул Женеста, разгля-

дывая лошадь и не замечая, чтобы она тяжело дышала или взмылилась. — Вот это конь! Какой он породы?

— То-то же! — ответил доктор, рассмеявшись. — А вы думали — кляча?.. История моего чудесного скакуна сейчас отняла бы у нас слишком много времени; хватит с вас и того, что Рустан — чистокровный берберийский конь, вывезен с Атласа. Берберийские кони не хуже арабских. Рустан взлетает на горы — и никогда на нем не увидишь испарины, а над самым обрывом он идет уверенным шагом. Я получил его в подарок, и, надо сказать, заслужил его. Так вздумал меня отблагодарить некий папаша за спасение дочери, одной из богатейших наследниц в Европе: я застал ее при смерти, когда она путешествовала по Савойе. Расскажи я вам, как мне удалось вылечить девицу, вы приняли бы меня за враля… Эге, слышите, бубенцы звенят и колеса грохочут по дороге? Посмотрим, не сам ли Виньо катит, приглядитесь к нему хорошенько.

Немного погодя показалась четверка могучих лошадей, в такой же сбруе, какая украшает коней у богатых фермеров в Бри. Шерстяные помпоны, бубенцы, кожаная сбруя — все было добротно, все свидетельствовало о достатке. В помести-

тельной повозке, выкрашенной в синий цвет, сидел видный круглолицый, загорелый парень и что-то насвистывал, держа кнут, как держит ружье часовой.

— Нет, это только его кучер, — сказал Бенаси. — Посмотрите, процветание хозяина отражается на всем, даже на упряжке! Все это указывает на коммерческую сметку, а ее довольно редко встретишь в деревенской глуши.

— Да, да, разукрашено на славу, — отозвался офицер.

— Так вот, у Виньо две таких упряжки. Кроме того, есть у него иноходец, на котором он разъезжает по делам, ведь торговля очень расширилась; а еще четыре года назад ничего-то у Виньо не было. Впрочем, ошибаюсь, были долги… Ну, пойдем. — И Бенаси окликнул кучера: — Послушай, паренек, госпожа Виньо, наверное, дома?

— В саду, сударь, только что видел за изгородью. Пойду предупрежу, что вы пожаловали.

Женеста отправился за Бенаси, который провел его по большому участку, обнесенному изгородью. В одном углу возвышались кучи разноцветной глины — для производства черепицы и кафельных плиток; в стороне горой навалены были вязанки вереска и дрова для

топки; а подальше, на площадке, за плетнем, рабочие дробили известняк и замешивали глину для кирпичей; против входа, под огромными вязами, стоял заводик, выделывающий круглую и четырехугольную черепицу, — за лужайкой, обсаженной деревьями, виднелись кровли сушильни, печь с глубоким жерлом, лопаты с длинными рукоятками, черная пустая топка. Сбоку стояло неказистое здание — хозяйское жилье, к нему пристроены были сараи, конюшни, коровник и амбар. Домашней птице и свиньям было привольно на просторе. Во всех помещениях царила чистота, все было прочно пригнано и свидетельствовало о рачительности хозяина.

— Предшественник Виньо, — продолжал Бенаси, — был человек никчемный, лентяй, любил выпить. Прежде он сам батрачил, а как стал арендатором, только и знал, что топить печь да платить аренду: ни предприимчивости, ни коммерческой жилки у него не было. Если, скажем, никто за его изделиями не явится, они так и залежатся, придут в негодность, пропадут. Поэтому-то он и умирал с голоду. А с женой он обращался так скверно, что она просто отупела, нищета у них была вопиющая. Его лень и непроходимая глупость до того тяготили меня и так мне непри-

ятно было смотреть на завод, что я избегал даже и проходить мимо. Но муж и жена были стары; однажды старика разбил паралич, и я тотчас же поместил его в гренобльскую богадельню. Хозяин завода без разговоров согласился взять предприятие обратно, в каком бы оно виде ни было, а я стал искать новых арендаторов, которые помогли бы мне развить промышленность кантона. Муж одной из горничных господина Гравье, бедный мастеровой, который работал у горшечника и получал такую скудную плату, что не мог прокормить семью, отозвался на мое предложение. Хотя у него не было ни гроша, он отважился взять в аренду завод, поселился здесь и научил жену, мать и старуху тещу изготовлять черепицу — превратил их в своих рабочих. Клянусь честью, я не знаю, как они изворачивались. Вероятно, Виньо брал в долг топливо для печи, должно быть, по ночам ходил с корзинами за материалом, а днем его обрабатывал — словом, он втайне развил кипучую деятельность, а обе старухи матери, одетые в рубища, надрывались в работе. Таким образом Виньо удалось обжечь несколько печей черепицы; весь первый год он ел один хлеб, оплаченный трудами и лишеньями всей семьи, но тем не менее выдержал. Многие,

узнав о мужестве, терпении, о достоинствах Виньо, прониклись к нему участием, он приобрел известность. Он был неутомим: утром спешил в Гренобль, продавал там кирпич и черепицу, в полдень возвращался домой, а ночью снова ехал в город; просто был каким-то вездесущим. На исходе первого года он взял себе в помощь двух мальчуганов. Тогда я ссудил его деньгами. И вот, сударь, что ни год, то лучше шли дела семьи. На второй год обе старухи уже не формовали кирпичей, не дробили камни, а ухаживали за садом, чинили одежду и готовили похлебку, по вечерам пряли, а днем ходили в лес по дрова. Жена Виньо грамотная, она вела счета. Виньо купил лошадку и стал объезжать окрестности в поисках заказов, затем изучил искусство выделки изразцов, нашел способ изготовлять превосходные кафельные плитки и продавал их ниже рыночной цены. На третий год он приобрел повозку и двух лошадей. Когда он завел первую упряжку, его жена стала настоящей модницей. Доходы росли, укреплялось и хозяйство. Виньо во всем поддерживал порядок, чистоту, бережливость — первоисточники его маленького состояния. Вот он нанял шестерых рабочих и хорошо оплачивает их, завел кучера, все поставил на широкую ногу; словом, изворa-

чиваясь и мало-помалу расширяя производство и торговлю, он зажил в довольстве. В прошлом году он купил черепичный завод, в будущем — перестроит дом. Вся его достойная семья здорова, хорошо одета. Жена Виньо, делившая все заботы и тревоги мужа, прежде худенькая и бледная, теперь пополнела, расцвела и похорошела. Обе старухи матери очень счастливы, хлопочут по хозяйству и на досуге помогают в торговле. Работа принесла деньги, а деньги дали спокойствие и с ним здоровье, радость. Для меня это хозяйство — поистине живая история и моей общины, и молодых торговых государств. Завод, прежде грязный, заброшенный, запущенный и почти ничего не производивший, теперь работает вовсю, полон людей, оживления, богат и хорошо оборудован. Вот вам запас дров и материалов на изрядную сумму — то, что необходимо для сезонной работы: вы ведь знаете, что черепицу изготовляют лишь в известное время года — с июня по сентябрь. Приятно видеть такую кипучую деятельность. Наш черепичных дел мастер внес свою лепту во все сельские постройки. Он всегда бодр, всегда в движении, всегда деятелен, в народе его зовут «Неугомонный».

Не успел Бенаси договорить, как молодая, хо-

рошо одетая женщина, в изящном чепце, белых чулках, шелковом переднике, розовом платье, в наряде, чуточку напоминавшем о том, что она раньше служила горничной, открыла калитку, ведущую из сада, и проворно, насколько позволяло ее положение, направилась к гостям; но доктор и офицер пошли ей навстречу. Г-жа Виньо и в самом деле была миловидной толстушкой, она загорела, однако кожа ее от природы, вероятно, была белоснежной. На лбу у нее виднелись морщинки — следы былой нищеты, но приветливое лицо дышало довольством.

— Господин Бенаси, — ласково промолвила она, видя, что доктор остановился, — окажите мне честь, отдохните у нас.

— Охотно, — ответил он. — Проходите, капитан.

— Наверно, вам жарко, не угодно ли молока или вина? Муж позаботился запасти вина к моим родам. Отведайте, господин Бенаси, и скажите, годится ли оно.

— Ваш муж — достойнейший человек.

— Да, сударь, — спокойно ответила она, оборачиваясь, — мне выпала счастливая доля.

— Мы ничего не хотим, госпожа Виньо, я зашел посмотреть, не стало ли вам худо.

— Нет, нет, — сказала она. — Видите, я разрыхляла грядки в саду, чтобы не сидеть сложа руки.

В эту минуту пришли обе матери — поздороваться с Бенаси, а кучер так и остался стоять посреди двора, откуда ему хорошо был виден доктор.

— Посмотрим, дайте-ка руку, — сказал Бенаси г-же Виньо.

Он замолчал и, углубившись в себя, стал внимательно и сосредоточенно считать пульс. А женщины тем временем рассматривали офицера с тем простодушным любопытством, которое, не стесняясь, выказывают сельские жители.

— Все идет хорошо, — весело объявил доктор.

— Да скоро ли она родит? — спросили обе матери.

— На этой неделе непременно. — И, помолчав, добавил: — А что, Виньо в разъездах?

— Да, сударь, — ответила молодая женщина, — муженек мой торопится устроить все дела, чтобы быть дома во время родов.

— Ну, что ж, друзья мои, процветайте, богатейте, деток наживайте.

Офицера изумила чистота, царившая в полуразвалившемся доме. Бенаси, заметив его удивление, сказал:

— Так вести хозяйство умеет лишь одна госпожа Виньо! Хотелось бы мне, чтобы кое-кто из соседок поучился у нее.

Молодая женщина вспыхнула и потупилась; а обе старухи просияли от похвал доктора. Все трое проводили его до того места, где были привязаны лошади.

— Ну вот, — обратился Бенаси к старушкам, — теперь вы вполне счастливы. Ведь вам хотелось стать бабушками.

— Ах, и не говорите! — вмешалась молодая женщина. — Терпенья моего нет! Обе мамаши хотят внука, а муж ждет дочурку. Трудновато будет всем угодить.

— Ну, а вы-то сами кого хотите? — спросил, смеясь, Бенаси.

— Я-то, сударь, просто хочу ребенка.

— Видите, в ней уже проснулась мать, — сказал доктор офицеру, взяв лошадь под уздцы.

— Прощайте, господин Бенаси, — сказала молодая женщина, — муж будет жалеть, что вы его не застали.

— А он не забыл отправить тысячу черепиц в Гранж-о-Бель?

— Понятно, отправил. Да ведь вы знаете — он махнет рукой на заказы всего кантона, лишь бы

вам услужить. Только очень ему не по душе с вас брать деньги, ну а я говорю, что ваши деньги приносят счастье, и это правда.

— До свиданья, — сказал Бенаси.

Три женщины, кучер и два работника собрались у плетня близ входа на черепичный завод, чтобы не расставаться с Бенаси до последней минуты, как это водится, когда человек дорог. Сердечные побуждения всюду одинаковы. Поэтому-то трогательные обычаи дружбы так схожи во всех странах.

Бенаси взглянул на солнце и сказал спутнику:

— Смеркаться начнет часа через два, и, ежели вы не очень проголодались, мы с вами навестим одну милую девушку, которой я почти всегда уделяю время, остающееся до обеда после объезда больных. В кантоне ее называют моей «подружкой», но не подумайте, что этим прозвищем, которое в наших краях принято давать невестам, ее наградили по злым наветам. Хотя мое попечение о бедной девочке вызывает ревнивое чувство, что отчасти и понятно, но сложившееся у всех мнение о моем характере исключает всяческие кривотолки. Люди, правда, не понимают, почему я предоставил девушке ренту, чтобы она жила, не работая, и считают это просто причудой,

но все уверены в ее добродетели и знают, что, если бы привязанность моя перешла границы дружеской заботы, я без колебаний женился бы на ней. Но не только в нашем кантоне, — присовокупил доктор, пытаясь улыбнуться, — нигде в мире женщины для меня не существуют. Человек любвеобильный, милейший Блюто, испытывает непреодолимую потребность прилепиться душой к какому-нибудь одному делу или существу, особенно когда жизнь для него — пустыня. Поэтому, послушайте меня, снисходительнее судите о человеке, питающем привязанность к собаке или лошади! Среди страждущей паствы, доверенной мне волею случая, бедная болезненная девочка для меня то же, что на солнечной моей родине, в Лангедоке, любимая овечка для пастушек: они украшают ее выцветшими лентами, разговаривают с ней, позволяют пастись у самой нивы, и собака никогда не подгоняет ленивицу.

Бенаси говорил стоя, положив руку на шею коня, — он собирался вскочить в седло, но все медлил, будто чувства, волновавшие его, не сочетались с резкими движениями.

— Ну что ж, — воскликнул он, — поедем к ней! Я сам везу вас туда, и это ли не доказательство, что смотрю я на нее, как на сестру, не правда ли?

Когда оба уже сели на коней, Женеста сказал доктору:

— Может быть, с моей стороны нескромно расспрашивать об этой девушке? Но жизнь ее, вероятно, не менее любопытна, чем жизнь всех тех людей, о которых вы мне рассказывали.

— Сударь, — ответил, приостановив лошадь, Бенаси, — мое отношение к ней будет вам, пожалуй, непонятно. Ее участь подобна моей, мы были предназначены для иного; чувство мое к ней и то волнение, которое я испытываю, видя ее, исходят из сходства наших судеб. Вы вступили на военное поприще, следуя своей склонности или вошли во вкус этого дела, иначе вы не стали бы в ваши годы ходить закованным в броню военной дисциплины; значит, вам не понять, как терзают душу вечные надежды и вечные разочарования, не понять тоски, гнетущей человека, вынужденного жить в чуждой ему среде. Об этих тайных муках знают лишь сами страдальцы и Бог, ниспосылающий им скорбь, ибо только им ведомо, какой глубокий след могут оставить в душе самые незначительные события. У вас, свидетеля стольких бед, порожденных долгой войной, чувствительность притупилась, но разве не наполнялось и ваше сердце тоской, когда

вам на глаза в разгар весны попадалось деревце с пожелтевшей листвою, деревце, чахнущее и гибнущее оттого, что его не высадили на почву, где бы вдоволь было соков, необходимых для полного его расцвета? Скорбная покорность хилого растеньица вызывала на мои глаза слезы, когда мне было всего двадцать лет, я отворачиваюсь и теперь, завидев такую картину. Юношеская печаль моя была предвестником печалей зрелых лет, нечто вроде сочувствия настоящего к тому будущему, которое я бессознательно предугадывал при виде деревца, безвременно приближающегося к роковому пределу, назначенному и людям и деревьям.

— Глядя на доброту вашу, я так и думал, что вы много выстрадали!

— Понимаете ли, сударь, — продолжал доктор, не отвечая на слова Женеста, — говорить об этой девушке — значит говорить обо мне. Она — растеньице, пересаженное на чужую почву, но она томится не как растение, она — человек, и ее непрестанно снедают глубокие, безрадостные думы, сменяющие друг друга. Бедная девушка страждет. Душа в ней убивает тело. Мог ли я хладнокровно видеть немощное существо, ставшее добычей тех тяжких терзаний, которым очень

мало сочувствуют люди в нашем себялюбивом мире, когда сам я, мужчина, привыкший стойко переносить любые муки, каждый вечер испытываю искушение отказаться от бремени подобных же терзаний? Пожалуй, я бы и отказался, но вера смягчает остроту моей печали и наполняет сердце сладостными надеждами. Даже если бы все мы не были детьми единого бога, девушка эта все равно была бы мне сестрою во страдании.

Бенаси пришпорил коня, словно боясь продолжать беседу в том же духе; Женеста поскакал вслед за ним.

— Сударь, — продолжал доктор, когда лошади рысцой пошли рядом, — можно сказать, что природа сотворила бедняжку для скорби, как других женщин для радостей. Как не уверовать, что есть иная жизнь, при виде таких обреченных созданий? На нее влияет все: в ненастную, пасмурную погоду она тоскует и «плачет вместе с небом», — это ее выражение. Вместе с пташками она поет; успокаивается и проясняется с небесами; в хороший день хорошеет; тонкий запах дарит ей неиссякаемые наслаждения: как-то она целый день упивалась ароматом резеды, благоухающей после одного из тех утренних дождей, когда раскрываются чашечки цветов, когда все

блестит, когда все словно умыто; она будто оживает вместе с природой, со всеми растениями. Если душно, если воздух наэлектризован перед грозой, у нее появляются недомогания, которые ничем не успокоишь; она ложится, она жалуется, что у нее все болит, а что с нею происходит, сама не знает. Я пытаюсь ее расспросить, и она отвечает, что у нее размягчаются кости, что она будто тает. В такие часы ей все безразлично, и только по боли чувствует она, что жива; сердце у нее, говоря ее словами, готово выскочить из груди. Не раз я заставал бедную девушку в слезах — она любовалась картиной гор на закате, когда причудливые облака теснятся над позолоченными вершинами. «О чем вы плачете, детка?» — спрашивал я ее. «Право, не знаю, сударь, — отвечала она, — сижу тут, словно дурочка, гляжу вверх, не могу наглядеться и под конец сама не знаю, где я». — «Что же вы там видите?» — «Вот этого не скажу». И хоть целый вечер допытывайтесь, ни слова у нее не добьетесь; то она будет бросать на вас взгляды, исполненные скорбной мысли, то на глаза ее набегут слезы, и она почти перестанет разговаривать, сосредоточенно размышляя о своем. Сосредоточенность ее так глубока, что передается и другим; по крайней мере на меня она

в такие часы влияет, как туча, насыщенная электричеством. Однажды я засыпал ее вопросами, мне очень хотелось вызвать ее на откровенность. Я даже вспылил при этом. Что же вы думаете? Она разрыдалась. Вообще же она весела, приветлива, смешлива, деятельна, остроумна; она любит поболтать, высказывает неожиданные самобытные суждения, но она не умеет прилежно заниматься одним делом; когда она ходила на полевые работы, то подолгу, бывало, смотрела на какой-нибудь цветок, наблюдала, как течет вода, разглядывала чудесные узоры на дне прозрачных и безмятежных ручьев — прелестную мозаику из гальки, земли, песка, водорослей, мха, ила, — мозаику, краски которой так нежны, а в оттенках столько удивительных сочетаний. Когда я переехал сюда, бедная девушка голодала, ей казалось унизительным просить подаяния, и только если не было иного выхода, обращалась она за помощью к жителям кантона. Случалось, что стыд подстегивал ее волю, несколько дней она, бывало, проработает на пашне, но быстро выбьется из сил, заболеет, и ей приходится оставить работу. Только окрепнет, идет на соседнюю ферму, нанимается ухаживать за скотиной, и хоть работа у нее спорится, она вдруг все бросает, а почему —

не говорит. Поденщина была ей, без сомнения, слишком тягостна, потому что девушка эта — воплощение независимости и непостоянства. Она принялась собирать трюфели и грибы и относила их на продажу в Гренобль. В городе ее соблазняли всякие безделушки: выручив несколько грошей, она считала себя богачкой, забывала про нищету, накупала лент, побрякушек и не задумывалась о завтрашнем дне. Ну а если какой-нибудь девице-односельчанке нравился ее медный крестик, позолоченное сердечко или бархотка, она отдавала их и была счастлива, что доставляет людям удовольствие, ведь живет она велениями сердца. Поэтому бедную девушку то любили, то жалели, то презирали. Все было для нее источником терзаний: и леность ее, и доброта, и кокетство, потому что она кокетка, лакомка и притом любопытна — словом, настоящая женщина; она отдается своим впечатлениям и склонностям с детскою непосредственностью; расскажешь ей о каком-нибудь хорошем поступке, она трепещет, краснеет, плачет от восторга, грудь ее бурно вздымается; расскажешь ей о разбойниках, она побледнеет от ужаса. На всем свете не найти второй такой правдивой натуры и такого открытого сердца; она честна до щепетильности,

доверьте ей сотню золотых монет — она запрячет их в укромный уголок, а сама по-прежнему будет жить подаянием.

При этих словах голос Бенаси дрогнул.

— Я хотел испытать ее, сударь, — продолжал он, — и раскаялся. Ведь когда испытываешь человека, то как будто шпионишь за ним и, во всяком случае, выказываешь недоверие к нему.

Тут доктор умолк, как бы предавшись своим сокровенным думам, и не заметил, в какое замешательство его слова повергли офицера, который, желая скрыть смущение, принялся распутывать поводья. Вскоре Бенаси заговорил снова:

— Хочется мне подыскать ей мужа, я дал бы ей в приданое одну из своих ферм, пусть бы только какой-нибудь славный малый сделал ее счастливой; она создана для счастья. Бедная девушка до потери сознания любила бы своих детей, и все чувства, переполняющие ее, нашли бы выход в чувстве, которое у женщины объемлет все остальные, — в материнстве; но пока ни один мужчина ей не нравился. Однако она наделена опасной чувствительностью, сама знает об этом и призналась мне в своей нервической восприимчивости, когда увидела, что я это заметил. Она принадлежит к тем немногим женщинам,

которые вздрагивают от самого легкого прикосновения, — опасное свойство. Тем большего уважения заслуживает ее рассудительность, женская гордость. Она пуглива, как ласточка. Какая же это одаренная натура, сударь! Она родилась для богатства, для любви: и какой бы она была чудесной спутницей жизни, какой постоянной!.. Ей двадцать два года, а она уже сгибается под бременем пережитого и угасает, она жертва своей неуравновешенной и впечатлительной натуры, своей слишком страстной, а быть может, слишком робкой души. Пылкая, обманутая любовь свела бы ее с ума. Я изучил ее нравственный склад, сам наблюдал, какие сильные нервные припадки случаются с ней, как на нее воздействуют электрические заряды. Обнаружил я и неоспоримую связь между расположением ее духа и колебаниями погоды, сменою фаз луны и, тщательно проверив все это, окружил ее особой заботой, ибо только мне дано было понять болезненную сущность этой странной девушки и направить ее по верному пути. Она, как я уже говорил вам, — для меня овечка, украшенная лентами. Но сейчас вы увидите ее, вот и домик, где она живет.

Всадники проехали почти треть горного склона,

поднимаясь шагом по крутым тропам, обрамленным кустарником. За поворотом дорожки Женеста увидел домик девушки. Он стоял на одном из самых широких уступов горы. Прелестная покатая лужайка, раскинувшаяся арпанах на трех, поросшая деревьями и омытая горными ручейками, обнесена была стеною, не высокой и не низкой, служившей оградой, но не заслонявшего ландшафт. Кирпичный домик с плоской кровлей, выступавшей над стеной навесом, придавал пейзажу своеобразное очарование. Двери и ставни этого двухэтажного строения выкрашены были в зеленый цвет. Передний фасад выходил на юг, и весь домик был до того мал, что окна шли только по фасаду, а сельское щегольство заключалось лишь в том, что весь он блестел чистотою. По немецкой моде навес был подбит досками, выкрашенными белой краской. Вокруг домика виднелись акации в цвету, еще какие-то благовонные деревья, розовый шиповник, вьющиеся растения, исполинское ореховое дерево, — его пощадили при вырубке, а подальше, у ручейков, росли плакучие ивы. Позади же встали буковые и еловые леса — темный фон, на котором четко выделялся уютный домик. Воздух в ту пору дня напоен был ароматами, веявшими с гор и из

сада. У горизонта на ясное и безмятежное небо набежали облака. Дальние вершины уже окрашивались в ярко-розовый цвет — отблеск заката. С высоты долина была видна как на ладони, от Гренобля до той дугообразной скалистой гряды, у подножия которой озерком разливается речка — ее накануне пересек Женеста. Вдали, повыше дома, полосой тянулись тополя — вехи большой дороги, ведущей из селения в Гренобль. А само селение, пронизанное косыми лучами солнца, сверкало точно алмаз и было залито багряным сиянием, отражавшимся во всех окнах. Женеста, увидев эту картину, осадил лошадь и указал на постройки, разбросанные по долине, на новый поселок и домик девушки.

— После победы при Ваграме и возвращения Наполеона в Тюильри в тысяча восемьсот пятнадцатом году, — сказал он, вздохнув, — ничего не вызывало у меня такого волнения. Сударь, вам обязан я этой радостью, ибо вы научили меня видеть красоту сельского ландшафта.

— Да, — ответил, усмехаясь, доктор, — строить города гораздо лучше, чем их брать!

— Да что вы, сударь! А взятие Москвы и падение Мантуи! Неужели вы не знаете, что это такое! Или наша воинская слава — не достояние

всех французов? Вы — человек хороший, да и Наполеон тоже был неплохим человеком, и вы бы столковались; кабы не Англия, не пал бы наш император; теперь-то можно признаться, что я его почитатель, ведь он умер. Тут нет соглядатаев, — заметил офицер, осматриваясь. — Какой же это был монарх! Как он угадывал людей. Вас бы он назначил в государственный совет, потому что он был настоящий правитель, и большой правитель, ему было даже известно, сколько оставалось зарядов в патронташах после боя. Бедный, бедный! Пока вы мне толковали о больной девушке, я думал о том, что он-то уже умер на острове Святой Елены. Э, да разве годился такой климат и такое жилище человеку, привыкшему скакать на коне и восседать на троне? Говорят, он там садовничал. Черт возьми! Не для того он был создан, чтобы капусту сажать. А нам теперь приходится служить Бурбонам, и служить честно, сударь, ибо, как вы вчера верно сказали, в конце концов Франция остается Францией.

С этими словами Женеста спешился и машинально последовал примеру Бенаси, который за поводья привязывал коня к дереву.

— Неужели ее нет дома? — сказал доктор, не видя девушки на пороге.

Они вошли, но и в комнате первого этажа никого не застали.

— Вероятно, услышала, что скачут две лошади, — заметил с улыбкой Бенаси, — и пошла наверх надеть чепчик, поясок — словом, принарядиться.

Он оставил Женеста, а сам отправился за хозяйкой. Офицер принялся рассматривать горницу. Стены были оклеены серыми обоями в розах, а на полу вместо ковра лежала циновка. Стулья, кресло, стол были сделаны из некрашеного дерева. Комнату украшали жардиньерки, сплетенные из ивовых обручей и прутьев, убранные цветами и мхом, на окнах белели кисейные занавески с красной бахромой. На камине — зеркало, меж двумя лампами — ваза из гладкого фарфора; рядом с креслом — еловая табуретка, на столе куски скроенного полотна, несколько заготовленных ластовиц, недошитых рубашек, а также принадлежности, без которых не обходится белошвейка, — рабочая корзинка, ножницы, иголки, нитки. Все было словно только что вымыто, как раковина, выкинутая морем на песчаный берег. Напротив, по другую сторону коридора, который упирался в лестницу, Женеста заметил кухню. На втором этаже, как и на первом, вероятно, тоже

было две комнаты.

— Да полно, не бойтесь, — говорил Бенаси девушке. — Ну, пойдемте же!

Услышав эти слова, Женеста проворно вернулся в комнату. И вот появилась тоненькая, стройная девушка, разрумянившаяся от смущения и робости, одетая в розовое кисейное платье со множеством складочек и шемизеткой. Лицо ее было примечательно лишь некоторой расплывчатостью черт, что придавало ему сходство с иными лицами русских казаков, которые стали знакомы французам с печальных времен разгрома 1814 года. И в самом деле, у девушки был вздернутый нос, как у многих северян, большой рот, короткий подбородок, а руки красные, ноги — крупные, широкие, как у крестьянки. Хоть ей и случалось бывать на ветру, на солнце, лицо ее ничуть не загорело, было бескровным — ну прямо поблекшая былинка; но эта бледность с первого же взгляда и привлекала к себе внимание, а в ее голубых глазах было столько кротости, в движениях столько женственности, в голосе столько задушевности, что, несмотря на явное несоответствие ее облика с теми качествами, о которых так восторженно говорил Бенаси, офицер все же тотчас угадал в ней своенравную и болезненную натуру, ис-

калеченную непосильными тяготами жизни. Девушка ловко развела огонь из торфа и сухих веток, уселась в кресло, взяла начатую рубашку и, оробев под взглядом гостя, не смела поднять глаза, хоть с виду и была спокойна; только, выдавая ее смятение, учащенно вздымалась юная грудь, поразившая Женеста красотой.

— Ну, моя милая девочка, дело подвигается? — спросил ее Бенаси, перебирая куски полотна, предназначенного для рубашек.

Девушка ответила, застенчиво и умоляюще посмотрев на доктора:

— Не браните меня, сударь, нынче я не сшила ни одной рубашки, хоть их заказывали вы и для людей, которым они очень нужны; но выдался такой чудесный день, я гуляла, набрала шампиньонов, белых трюфелей и отнесла Жакоте; она обрадовалась, ведь у вас к обеду гости. Как же я счастлива, что угадала это! Словно какой-то голос твердил мне, что надобно пойти по грибы.

И она снова принялась за шитье.

— У вас, мадмуазель, прехорошенький домик, — сказал ей Женеста.

— И совсем он не мой, сударь, — ответила она, вскинув на незнакомца глаза; казалось, и они покраснели от смущения. — Он принадлежит

господину Бенаси.

И она несмело перевела взгляд на доктора.

— Вы прекрасно знаете, детка, — сказал доктор, беря ее за руку, — что вас отсюда никогда не выгонят.

Девушка вдруг вскочила и выбежала из комнаты.

— Ну-с, — спросил доктор офицера, — как она вам нравится?

— Знаете ли, — ответил Женеста, — она какая-то трогательная. Вы устроили ей премилое гнездышко.

— Да что там! Обои по пятнадцати — двадцати су, только удачно подобраны, вот и все. Мебель в счет не идет, ее в знак признательности сделал для меня мастер-корзинщик. Наша хозяюшка сама сшила занавески из нескольких локтей коленкора. Жилище ее и простая обстановка приглянулись вам лишь оттого, что увидели вы их в горах, в захолустье, где и не думали найти что-нибудь достойное внимания, а ведь вся тайна их прелести заключается в гармоническом сочетании дома с природой, которая проложила здесь ручьи и картинно рассадила деревья, посеяла на лужайке очаровательнейшие травы, разбросала кустики душистой земляники и нежные фиалки.

Ну, что с вами? — спросил Бенаси у девушки, когда она вернулась.

— Ничего, ничего, — ответила она, — мне просто показалось, что в курятнике не хватает курицы.

Она говорила неправду, но заметил это только доктор — он сказал ей на ухо:

— Вы плакали?

— Зачем вы заводите такие разговоры при постороннем человеке? — ответила она.

— Мадмуазель, — сказал Женеста, — напрасно вы живете затворницей; в таком очаровательном домике вам не хватает только мужа.

— Вы правы, — промолвила она, — да как мне быть, сударь? Я бедна, но требовательна. Нет у меня охоты носить мужу похлебку в поле да быть за возницу, чувствовать непрестанно, как бедность гнетет тех, кого любишь, и не находить выхода, день-деньской нянчить детей и чинить отрепья мужа. Господин кюре сказал, что такие мысли не очень-то подобают христианке, я сама это хорошо знаю, но что поделаешь? В иные дни я готова съесть кусок черствого хлеба, только бы не возиться с обедом, неужто вы хотите, чтобы мои недостатки свели мужа в могилу? Чего доброго, он надорвался бы в работе ради моих прихотей, а

это было бы несправедливо. Нет, на меня, видно, напустили порчу, приходится страдать в одиночестве.

— К тому же бедная моя девочка — лентяйка от природы, — сказал Бенаси, — надо с этим мириться. А все эти разговоры означают, что она еще не любила, — добавил он, посмеиваясь.

Немного погодя он встал и вышел на лужайку.

— Вы, должно быть, очень любите господина Бенаси? — спросил Женеста девушку.

— О, конечно, сударь. Все тут, как и я, готовы за него в огонь и в воду. Да вот только других-то он вылечивает, а у самого какой-то недуг, которого не вылечить. Вы его друг? Не знаете ли вы, что с ним? Кто же причинил горе такому человеку? Ведь он — истинное подобие Господа Бога на земле. Многие у нас верят, что хлеба всходят лучше, если он поутру проедет мимо поля. Что же, им лучше знать.

— А вы верите?

— Сударь, стоит мне его увидеть…

Она смутилась, но, помедлив, прибавила:

— И я весь день счастлива.

Она склонила голову и с какою-то странною торопливостью принялась шить.

— Ну, как? Рассказал вам капитан про Наполео-

на? — спросил, возвратившись, доктор.

— Вы видели Наполеона? — воскликнула девушка, всматриваясь в лицо офицера с восторженным любопытством.

— Еще бы! — сказал Женеста. — Тысячу раз, если не больше!

— Ах, как бы мне хотелось услышать что-нибудь из военной жизни.

— Завтра, вероятно, мы приедем сюда пить кофе. И тебе расскажут «что-нибудь из военной жизни», детка. — Говоря это, Бенаси обнял девушку за плечи и поцеловал в лоб. — Видите ли, ведь она моя дочка, — прибавил он, оборачиваясь к офицеру, — если я не поцелую ее в лоб, мне чего-то недостает весь день.

Девушка сжала руку Бенаси и чуть слышно сказала:

— Какой вы хороший!

Гости попрощались, но девушка пошла провожать их, посмотреть, как они уедут. Когда Женеста был уже в седле, она шепнула Бенаси на ухо:

— А кто же этот господин?

— Вот оно что, — засмеялся доктор и добавил, уже занося ногу в стремя, — да, может быть, твой суженый…

Девушка все стояла, глядя, как они спускаются по крутой тропе, и когда они обогнули сад, то увидели, что она взобралась на груду камней: ей хотелось еще раз взглянуть на своих гостей и кивнуть им на прощанье головой.

— Сударь, в этой девушке есть что-то необычное, — сказал Женеста доктору, когда они отъехали на порядочное расстояние от дома.

— Не правда ли? — ответил он. — Двадцать раз я твердил себе, что лучше жены не найти, но я не могу полюбить ее иначе, чем дочь или сестру, сердце мое мертво.

— Есть у нее родственники? — спросил Женеста. — Чем занимались ее отец и мать?

— О, это целая история, — ответил Бенаси. — У нее нет ни отца, ни матери, никого из родни. Ее прозвище сразу же возбудило мое любопытство. Она родилась у нас в селении. Отца ее, поденщика из Сен-Лоран-де-Пона, прозывали Могильщиком, конечно, потому, что с незапамятных времен в их семье из поколения в поколение передавалось ремесло могильщика. Смертной тоской веет от этого прозвища. В силу римского обычая, до наших дней принятого здесь, как и в ряде других областей Франции, жену называют именем мужа, прибавляя женское окончание, ну, а эту девушку

стали звать по прозвищу отца — Могильщицей.

Поденщик женился по любви на горничной некой графини, поместье которой находится в нескольких лье отсюда. У нас, как и вообще в деревне, любовь не имеет ровно никакого значения для брака. Обычно крестьяне обзаводятся женами, чтобы иметь детей, чтобы иметь хозяйку, — будет кому готовить вкусную похлебку, носить им в поле еду, ткать холст на рубахи да чинить одежду! Издавна ничего подобного не приключалось в здешних краях, где нередко парень бросает «нареченную» ради другой, за которой дают на три-четыре арпана земли больше. Печальная участь досталась Могильщику и его жене, так что пример их не мог отучить наших крестьян от расчетливости, присущей уроженцам Дофине. Красавица жена Могильщика скончалась во время родов, муж впал в такое отчаяние, что умер в том же году, не оставив дочке ничего, кроме жизни, еле теплившейся в ней и, разумеется, необеспеченной. Девочку из милости взяла соседка, воспитывавшая ее лет до девяти. Но вот доброй женщине стало не под силу кормить приемную дочку и пришлось посылать ее за подаянием в то время года, когда на дорогах бывает много путешественников. Однажды сиротка

пошла просить милостыню в графский замок, и ее там оставили — в память матери. Бедную девочку муштровали, проча в горничные наследнице, пять лет спустя вышедшей замуж; все эти годы она страдала от причуд богатых попечителей, господ, как водится, взбалмошных, которые обычно благотворительствуют порывами, прихоти ради, и, выказывая себя то опекунами, то друзьями, то хозяевами, делают еще более ложным и без того ложное положение облагодетельствованных ими бедных детей, беспечно играют их сердцем, жизнью и будущим и почти не считают их за людей. На первых порах Могильщица стала чуть ли не товаркой наследницы; ее обучали грамоте, а иногда будущая ее госпожа, чтобы поразвлечься, давала ей уроки музыки. Девочка была то компаньонкой, то горничной и превратилась в какое-то исковерканное существо. Она пристрастилась к роскоши, к нарядам и усвоила манеры, не подходившие к ее истинному положению. С той поры невзгоды без пощады искоренили все это из ее души, но не уничтожили смутного сознания, что ей предопределен более высокий удел. И вот как-то, в роковой для бедной девушки день, молодая графиня, уже бывшая замужем, невзначай увидела, что Могильщица — теперь

просто-напросто горничная, — надев бальное платье своей госпожи, танцует перед зеркалом. Сироту, которой в ту пору было шестнадцать лет, безжалостно выгнали, ей все опостылело, и она дошла до нищеты, бродила по дорогам и просила милостыню, работала, как я вам уже рассказывал. Нередко она подумывала о том, не броситься ли ей в реку, не продаться ли первому встречному; чуть ли не целыми днями лежала она в угрюмом раздумье где-нибудь у изгороди на солнцепеке, зарывшись головой в траву; и проезжие кидали ей несколько су, именно потому, что она не просила. Год она пробыла в больнице в Анеси, после того как надорвалась во время жатвы, — она работала в надежде, что умрет. Нужно послушать, как она сама рассказывает о своих чувствах и мыслях в ту пору своей жизни, ее простодушные признания часто бывают весьма любопытны. В конце концов она вернулась в наше селение, как раз когда я решил там обосноваться. Мне хотелось познакомиться с духовным миром здешних жителей, я принялся изучать характер девушки и был изумлен; затем, убедившись в ее болезненном складе, я решил взять ее под свою опеку. Пройдет время, и, может быть, она свыкнется с работой белошвейки, во всяком случае я обеспе-

чил ей существование.

— Ей там очень одиноко, — сказал Женеста.

— Нет, у нее ночует пастушка, — ответил доктор. — Вы не заметили, что повыше дома находятся службы моей фермы, их заслоняют ели. Там, у себя, она в полной безопасности. Впрочем, в нашей долине не встретишь злых озорников; если они случайно и попадаются, я посылаю их на военную службу, и они становятся отменными солдатами.

— Бедная девушка! — заметил Женеста.

— А вот местный люд ничуть ее не жалеет, — продолжал Бенаси, — напротив, все находят, что она счастливица; здесь не понимают, что между нею и другими крестьянами существует важное различие: им Бог даровал силу, ей же — слабость.

В ту минуту, когда всадники выехали на гренобльскую дорогу, Бенаси, заранее зная, как поразит офицера пейзаж, открывшийся перед ними, с довольным видом остановил коня, чтобы насладиться изумлением своего спутника. Два зеленых вала высотою футов в шестьдесят тянулись, пропадая вдали, по обеим сторонам широкой дороги, чуть горбатой, как садовая аллея, — все вместе составляло живой зеленею-

щий памятник, которым по праву мог гордиться человек, создавший его. Никто не подстригал деревьев, и они возвышались громадным шатром, — недаром итальянские тополи считаются великолепнейшими представителями растительного мира. Уже мрак окутал одну сторону дороги, и потемневшие деревья стояли необъятной стеной, а другую ярко освещало заходящее солнце, покрывая позолотой молодые побеги, и блики света то вспыхивали, то меркли на колыхавшейся завесе листвы, когда по ней пробегал солнечный луч или легкий ветерок.

— Как вы, должно быть, счастливы здесь, — воскликнул Женеста, — все тут дает вам радость.

— Сударь, — сказал доктор, — только любовь к природе не обманывает человеческих надежд. Она не приносит разочарования. Вот этим тополям — десять лет. Случалось ли вам видеть, чтобы деревья так хорошо принимались?

— Господь бог всемогущ! — воскликнул офицер, останавливаясь посреди дороги, ни начала, ни конца которой не было видно.

— Ваши слова для меня истинная отрада, — сказал Бенаси. — Мне так приятно услышать от вас то, что я сам часто повторяю, когда еду этой дорогой. Здесь человека охватывает какое-то

религиозное чувство. Мы с вами словно две песчинки, а ощущение ничтожества нашего всегда приближает нас к богу.

Они умолкли и медленно тронулись в путь, слушая, как гулко, будто под сводами храма, отдается топот копыт в зеленой галерее.

— Сколько радостных волнений, о которых и не подозревают горожане! — промолвил доктор. — Чувствуете, как пахнет клейкий сок тополя и смола лиственницы? Какое упоение!

— Слушайте, что это? — воскликнул Женеста. — Давайте остановимся.

Издалека донеслось пение.

— Кто это поет — мужчина или женщина? Или птица? — негромко спросил офицер. — Или это голос самой великой природы?

— Все вместе, — ответил доктор, соскакивая с лошади и привязывая ее к ветви тополя.

Он знаком предложил офицеру сделать то же и последовать за ним. Они не спеша пошли по дорожке, окаймленной живой изгородью из терновника, осыпанного белым цветом и разливавшего благоухание в сыром вечернем воздухе. Солнечные лучи, падавшие на тропу, были как-то необычайно ярки, очевидно по контрасту с длинной темной завесой из листвы

тополей; эти мощные потоки света бросали багряные отблески на хижину, приютившуюся в конце песчаной дорожки. Казалось, золотая пыль осыпала соломенную кровлю, обычно цветом напоминавшую скорлупу каштана; на развалившемся коньке зеленели заячья капуста и мох. Сквозь ослепительную дымку хижина едва была видна; но ветхие стены и дверь — словом, все сверкало мимолетным блеском, все поражало неожиданною красотою, как это бывает порой с человеческим лицом под воздействием страсти, которая оживляет и красит его. На лоне природы иногда видишь такие безыскусно пленительные и преходящие картины, которые вызывают у нас тот же душевный порыв, что и у апостола, сказавшего Иисусу Христу на горе: «Построим кущу и пребудем здесь». В этот миг природа будто обрела чистый и нежный голос, такой же чистый и нежный, как она сама, но голос грустный, подобно сиянию, меркнувшему на западе; смутный прообраз смерти, напоминание, воплощенное на небе в заходящем солнце, а на земле — в цветах и в мотыльках-однодневках. В эту пору дня солнечный свет проникнут печалью, печальна была и звеневшая в воздухе песня — народная песня, песня любви и скорби; было время, когда она выражала

национальную ненависть Франции к Англии, но Бомарше вернул ей истинную поэтичность, и она зазвучала на французской сцене в устах пажа, признающегося в любви своей крестной матери. Кто-то напевал ее без слов, и она отзывалась в душе, задевая самые чувствительные струны.

— Лебединая песня, — сказал Бенаси, — за целый век, пожалуй, такого голоса не услышишь и двух раз. Поспешим: надобно немедля прекратить пение. Мальчуган убивает себя, бесчеловечно слушать его дальше… Замолчи, Жак! Эй! замолчи же! — крикнул доктор.

Пение оборвалось. Женеста не двигался, словно завороженный. Тучка прикрыла солнце, и сразу замерли и природа и голос.

Мягкое сияние, теплый ветерок и пение мальчика сменились сумерками, прохладой и тишиной.

— Почему ты не слушаешься? — говорил Бенаси. — Больше не получишь ни рисовых пирожков, ни супа с улитками, ни свежих фиников, ни белого хлеба! Видно, тебе умереть хочется и причинить горе матери?

Женеста вошел в опрятный дворик и увидел женственного, хрупкого подростка лет пятнадцати; у него были жиденькие белокурые волосы

и такой цвет лица, словно он нарумянился. Он медленно поднялся со скамейки, стоявшей под большим кустом жасмина, под пышными ветвями сирени в цвету, заслонившими его фигурку своею листвой.

— Ведь я велел тебе, — продолжал доктор, — ложиться с заходом солнца, не выходить вечером на холод и не разговаривать. Как же тебе в голову пришло запеть?

— Право же, господин Бенаси, было совсем тепло, а ведь так приятно, когда тепло! А то меня всегда знобит. До того хорошо мне стало, что я нечаянно стал напевать «Мальбрук в поход собрался» и сам себя заслушался: голос у меня звучал прямо как свирель вашего пастуха.

— Смотри, чтобы этого больше не повторялось, слышишь?.. Дай-ка руку, бедный мой мальчик.

Доктор принялся считать пульс. Голубые глаза подростка обычно были полны смирения, но сейчас они лихорадочно блестели, — мальчик был явно возбужден.

— Так я и знал, ты в испарине, — сказал Бенаси, — Мать, верно, ушла?

— Да, сударь.

— Ну, ступай домой и ложись.

Больной, в сопровождении Бенаси и офицера,

вернулся в хижину.

— Зажгите-ка свечку, капитан Блюто, — сказал доктор, помогая Жаку снять бедную его одежду.

Когда в комнате стало светло, Женеста поразился невероятной худобе Жака, мальчик был кожа да кости. Бенаси уложил его и стал выстукивать, прислушиваясь к шуму, отдававшемуся у него в груди; уловив зловещие хрипы, он прикрыл Жака одеялом, отошел шага на четыре и, скрестив руки на груди, стал наблюдать за ним.

— Ну, как себя чувствуешь, милый?

— Хорошо, сударь.

Бенаси придвинул к кровати стол на четырех шатких ножках, отыскал на камине стакан, пузырек и приготовил питье: налил в воду темную жидкость из пузырька, тщательно отсчитав капли при свете зажженной свечи, которую держал Женеста.

— Что-то твоя мать запаздывает.

— Да вот она идет, сударь, — сказал Жак, — Слышите — шагает по тропке.

Доктор и офицер в ожидании оглядывали комнату. На полу в ногах кровати валялся набитый мхом матрац без простынь и одеяла; тут, очевидно, не раздеваясь, спала мать. Женеста молча указал на эту постель доктору, который тихонько

кивнул головой, как бы говоря, что и его умилила материнская самоотверженность. Во дворе раздалось постукивание сабо, и доктор вышел.

— Придется вам эту ночь присмотреть за Жаком, матушка Кола. Если пожалуется на удушье, дайте ему питье, оно приготовлено в стакане на столе. Только пусть больше двух-трех глотков сразу не отпивает. Стакана должно хватить на всю ночь. Главное, не подливайте из пузырька и первым делом смените сыну белье, он весь в поту.

— Не успела я нынче постирать ему рубашки, сударь мой, пришлось в Гренобль пеньку снести, чтобы выручить немного денег.

— Ну, рубашки я вам пришлю.

— Значит, бедному моему сыночку хуже стало? — спросила женщина.

— Хорошего ждать нечего, матушка Кола; он не поберегся и запел; но не корите, не браните его и сами бодритесь. Если Жак будет очень жаловаться, пошлите за мной соседку. Прощайте.

Доктор окликнул спутника, и они пошли обратно по тропинке.

— У паренька чахотка? — спросил Женеста.

— Ну конечно, боже ты мой! — ответил Бенаси. — Его исцеление было бы чудом природы,

наука тут бессильна. Профессора Парижского медицинского факультета говорили нам о явлении, свидетелем которого вы только что были. При некоторых формах чахотки иногда происходят такие изменения голосовых связок, что у больного появляется замечательный голос — самому искусному певцу не превзойти его. А невеселый денек провели вы из-за меня, сударь, — добавил доктор, вскочив на коня. — Повсюду страдание, повсюду смерть, и покорность судьбе тоже повсюду. Крестьяне умирают философски — отстрадали молча и свалились наподобие животных. Ну, довольно говорить о смерти, пришпорим-ка лошадей. Надобно засветло вернуться домой, мне хочется, чтобы вы взглянули на новый поселок.

— Эге! Да не пожар ли там, — сказал Женеста, указывая на склон горы, откуда столбом поднималось пламя.

— Ну, это огонь не страшный. Должно быть, известь обжигают. Промысел этот у нас возник недавно — топливом служит вереск.

Прогремел ружейный выстрел, и Бенаси, невольно вскрикнув, раздраженно сказал:

— Неужто опять Бютифе? Ну, посмотрим, кто кого пересилит!

— Стреляли вон там, — заметил Женеста, ука-

зывая на буковый лесок, выросший на горе, как раз над ними. — Да, там, наверху, поверьте слуху старого солдата.

— Скорей туда! — крикнул Бенаси, пустив коня во весь опор, словно в скачках с препятствиями, без дороги, напрямик к леску, так не терпелось ему захватить стрелка на месте преступления.

— Вы за ним, а он от вас! — крикнул Женеста, с трудом поспевая за доктором.

Бенаси вмиг повернул лошадь, поскакал обратно, и немного погодя человек, которого он догонял, появился на скале, футах в ста над головою всадников.

— Бютифе! — крикнул Бенаси, увидев у него длинное ружье, — спускайся!

Бютифе узнал доктора и ответил почтительным и дружеским поклоном, выражавшим полное послушание.

— Допускаю, — заметил Женеста, — что человек, движимый страхом или другим сильным чувством, ухитрился вскарабкаться на самую верхушку утеса, но вот как он оттуда слезет?

— За него-то я не боюсь, — ответил Бенаси, — этому молодцу козы могут позавидовать. Сами сейчас увидите.

Война приучила офицера ценить человеческую

отвагу, и он с восхищением следил за быстрыми, уверенными, красивыми движениями Бютифе, спускавшегося по крутым уступам скалы, на верхушку которой он взобрался с таким дерзким бесстрашием. Он был силен, гибок и с удивительной ловкостью держался на самых крутых склонах; по краю утеса он ступал спокойнее, чем на паркетном полу, так он был, очевидно, уверен, что не сорвется. Длинное ружье служило ему вместо палки. Бютифе был худощавый, подвижный, мускулистый парень среднего роста, мужественная красота которого поразила Женеста, когда он разглядел его вблизи. Вероятно, Бютифе принадлежал к числу тех контрабандистов, которые, не прибегая к насилию, только с помощью терпения и изворотливости проносят контрабанду и обманывают казну. У него было смелое, опаленное солнцем лицо. Светлые, изжелта-карие глаза сверкали, как глаза орла, а тонкий, чуть загнутый книзу нос напоминал орлиный клюв. Пушок покрывал его щеки. Меж полураскрытыми алыми губами виднелись ослепительно белые зубы. Борода, усы и баки, рыжеватые, вьющиеся от природы и не знавшие ножниц, придавали его лицу еще больше мужества и суровости. Он казался воплощением силы. Мускулы рук благо-

даря постоянному упражнению были крепки и развиты на редкость. Грудь у него была широкая, а очертания лба говорили о прирожденном уме. Вся его внешность свидетельствовала об отваге, решительности, спокойствии, свойственных человеку, который привык рисковать жизнью и так часто испытывать свою телесную и умственную силу во всяческих переделках, что он больше не сомневается в себе. На нем была рубаха, изодранная колючками, на ногах сандалии, подвязанные ремешками из кожи угря. Из-под синих холщовых штанов, усеянных заплатами и дырками, виднелись загорелые, сильные ноги, сухощавые и стройные, как у оленя.

— Перед вами человек, когда-то стрелявший в меня, — тихо сказал Бенаси офицеру. — А теперь, если бы я захотел от кого-нибудь избавиться, Бютифе любого убил бы без колебаний. Бютифе, — продолжал он, обращаясь к браконьеру, — я-то ведь считал, что ты умеешь держать слово, поэтому ручался за тебя. Мое обещание гренобльскому королевскому прокурору основано было на том, что ты поклялся бросить охоту, остепениться, образумиться, приняться за дело. Ведь это ты сейчас выстрелил, да еще на земле графа Лабраншуара. Ну а если бы, бедовая ты голова,

услыхал лесничий? На твое счастье, протокола я не составлю, иначе тебя судили бы за повторное преступление, тем более что ты не имеешь права носить оружие. Я оставил тебе ружье из жалости, зная, как ты дорожишь им.

— Вещь отменная, — заметил офицер, определив, что это длинноствольное охотничье ружье — работа сент-этьенских оружейников.

Контрабандист поднял голову и так посмотрел на Женеста, будто благодарил за одобрительный отзыв.

— Бютифе, — продолжал Бенаси, — разве совесть тебя не мучит? Стоит тебе приняться за старое ремесло, как ты снова очутишься за решеткой; и уж тогда никакое заступничество не избавит тебя от каторжных работ, ты будешь заклеймен, опозорен. Сегодня же вечером принеси мне ружье, я его сберегу для тебя.

Бютифе судорожным движением сжал ружейный ствол.

— Вы правы, господин мэр, — сказал он. — Я виноват, я нарушаю закон, я — подлец. Ладно, отбирайте у меня ружье, но оно уже навсегда останется у вас. Так и знайте: последним выстрелом я покончу с собой. Что поделаешь! Я во всем вас слушался, зиму просидел тихонько, ну,

а вот весной закипела кровь. Пахать я не умею, не по нутру мне всю жизнь откармливать птицу, не могу я гнуть спину — грядки перекапывать, или шагать, помахивая кнутом, за телегой, или торчать в конюшне, лошадей чистить. Что ж, выходит, с голоду подыхать? Хорошо мне живется только там, наверху, — заметил он, помолчав, и показал на горы. — Уж с неделю я брожу там; выследил серну, вон она где теперь, к вашим услугам, — продолжал он, указывая на вершину скалы. — Господин Бенаси, вы ведь такой добрый, не отнимайте у меня ружье. Послушайте, даю вам честное слово, что я уйду из общины, отправлюсь в Альпы; там охотники на серн в штыки меня не встретят, наоборот, примут радушно, и я подохну где-нибудь среди ледников. Да чего кривить душой: я предпочту всего лишь годика два пожить в горах, не сталкиваясь с властями, таможенниками, сельскими стражниками, с королевским прокурором, чем век гнить в вашем болоте. Только вас и буду жалеть, а все остальные вконец мне осточертели. Вы хоть и стоите на своем, но по крайней мере не сживаете людей со света…

— А Луиза? — спросил Бенаси.

Бютифе задумался.

— Эх, приятель! — сказал Женеста. — Научись-

ка грамоте, приходи ко мне в полк, садись на коня и будь карабинером. Ну, а если затрубят седлать лошадей в поход на врага, увидишь, что господь бог судил тебе жить среди пушек, пуль, сражений, и станешь ты генералом.

— Да вот если бы Наполеон вернулся, — ответил Бютифе.

— Помнишь наш уговор? — сказал ему доктор. — Ты обещал, что, если провинишься во второй раз, пойдешь в солдаты. Даю тебе полгода — выучишься грамоте, ну, а там подыщу наследничка из богатого дома, отправишься вместо него на военную службу.

Бютифе взглянул на горы.

— Нет, в Альпах тебе не бывать! — воскликнул Бенаси. — Такой человек, как ты, человек слова, человек, в котором заложено столько хорошего, должен служить своей стране, командовать отрядом, а не ломать себе шею в погоне за серной. Ты ведешь такую жизнь, что тебе не миновать каторги. Тратишь столько сил, что тебе подолгу нужно отдыхать, и в конце концов ты обленишься, беспутным станешь, начнешь насильничать, самовольничать, а моя цель — наперекор тебе самому вывести тебя на хорошую дорогу.

— Что ж, придется, значит, околевать с тоски и

печали. В городе мне дышать нечем. В Гренобле, когда случается возить туда Луизу, дня вытерпеть не могу.

— У всякого свои наклонности, и мы сами должны их знать, чтобы побороть их или обратить на пользу окружающим. Но час уже поздний, мне некогда. Завтра принесешь ружье, тогда мы обо всем потолкуем, сынок. Прощай. А серну продай в Гренобле.

Всадники поехали дальше.

— Вот это действительно человек! — воскликнул Женеста.

— Человек на дурном пути, — ответил Бенаси. — Но как быть? Вы сами слышали, что он говорит. Прискорбно видеть, как гибнет такая даровитая натура. Если бы во Францию вторгся неприятель, Бютифе во главе сотни смельчаков на месяц задержал бы в горах Морьены целую дивизию, но в мирное время он находит выход своей силе в одних только противозаконных поступках. У него потребность — преодолевать препятствия; если он не подвергает опасности свою жизнь, то борется с обществом, помогает контрабандистам. Такой ведь удалец — один в утлой лодчонке переплывает Рону, отвозит в Савойю обувь; с тяжелой ношей взбирается на

неприступный утес, отсиживается там суток по двое, питаясь коркой хлеба. Словом, он любит опасность, как некоторые любят сон. Он привык к сильным ощущениям, и ему уже тесно в рамках обыденной жизни. А я не хочу, чтобы такой человек, незаметно катясь под гору, превратился в грабителя и умер на эшафоте. Ну, как вам нравится наше селение, а?

Женеста издали увидел большую полукруглую площадь, зеленевшие вокруг деревья, а посреди нее, под сенью тополей, — водоем. Площадь была окружена тремя рядами насаждений, расположенных на пологих склонах: ряд акаций, за ним — японское лаковое дерево, а повыше — небольшие вязы.

— Здесь у нас устраиваются ярмарки, — сказал Бенаси. — А главная улица начинается подальше, вон у тех двух красивых домов, о которых я вам говорил: один принадлежит мировому судье, другой — нотариусу.

Они въехали на широкую, тщательно вымощенную крупным булыжником улицу, застроенную сотнею новых домов, меж которыми почти повсюду виднелись сады. Вдали живописно вырисовывался портал церкви, в которую упиралась улица, на полпути пересеченная еще

двумя новыми улицами, с немалым числом домов. Мэрия находилась на церковной площади напротив дома кюре. Увидев Бенаси, женщины, дети и мужчины, закончившие трудовой день, высыпали на порог своих домов, и кто скидывал перед ним шапку, кто говорил слова приветствия, а детвора прыгала вокруг лошади, словно зная ее добродушие не хуже, чем доброту ее хозяина. То было сдержанное ликование, в котором, как во всех глубоких чувствах, было что-то робкое и задушевное. Женеста, видя, как люди встречают Бенаси, подумал, что доктор поскромничал, и, рассказывая накануне о привязанности, какую питают к нему жители кантона, умалил ее. И в самом деле, то была отраднейшая из всех существующих властей — власть, права которой записаны в сердцах подданных, говоря иначе — истинная власть. Пусть человек ослеплен блеском своей славы, своего могущества, однако в душе он скоро по достоинству оценит те чувства, которые пробудил своими деяниями, и сразу поймет, как он ничтожен в действительности, и ничего преобразующего, ничего нового и ничего великого больше не узрит во внешних проявлениях своей воли. Короли — даже если им подвластна вселенная, — как все смертные,

обречены на жизнь в ограниченном кругу, его законам они обязаны подчиняться, и личное их счастье зависит от чувств тех людей, какими они окружены. А Бенаси во всем кантоне встречал лишь повиновение и дружеское расположение.

Глава III
Наполеон народа

— Входите же, сударь! — говорила Жакота. — Совсем заждались вас гости. Всегда вы так. Из-за вас обед, как ни старайся, не получится. Все перепарилось.

— Да вот и мы, — отвечал с улыбкой Бенаси.

Всадники сошли с лошадей и направились в комнату, где сидели гости, которых пригласил доктор.

— Господа, — сказал он, беря Женеста за руку, — имею честь представить вам господина Блюто, капитана кавалерийского полка, стоящего в Гренобле, старого солдата, который обещает пожить у нас.

И, указывая на высокого, сухопарого и седовласого человека в черном, он обратился к Женеста:

— Познакомьтесь с господином Дюфо, мировым судьей. Я уже о нем рассказывал вам, он немало посодействовал процветанию общины. Познакомьтесь, — продолжал он, подводя Женеста к невысокому молодому человеку в очках, худощавому, бледному и тоже одетому в черное, — это

господин Тонеле, зять господина Гравье, первый нотариус, обосновавшийся у нас.

Он обернулся к толстяку, на вид полукрестьянину, полугорожанину, угреватое лицо которого было грубоватым, но добродушным, и сказал:

— Познакомьтесь с господином Камбоном, моим достойным помощником — лесоторговцем, ему я обязан тем, что население оказывает мне благосклонное доверие. Он один из создателей дороги, которой вы восхищались. Нет нужды говорить, чем занимается этот господин, — прибавил Бенаси, указывая на священника. — Перед вами человек, которого нельзя не любить.

Офицер не мог отвести глаз от лица священника — такой оно светилось духовной красотой, придававшей ему неотразимое обаяние. На первый взгляд лицо г-на Жанвье, пожалуй, казалось некрасивым, так суровы и нескладны были все его черты. Невысокий рост, тщедушность, самая поза — все говорило о телесной слабости, но кроткое лицо свидетельствовало об истинно христианском внутреннем умиротворении, о силе и стойкости, порождаемой душевной чистотою. Глаза его, в которых словно отражались небеса, сияли неугасимым огнем милосердия, горевшим в его сердце. Держался он скромно и естественно,

без суетливости, и во всех движениях его было что-то застенчивое и простодушное, как в движениях юной девушки. Весь облик его внушал уважение и невольное желание познакомиться с ним поближе.

— Что вы, господин мэр, — произнес он и потупился, точно хотел избежать похвал Бенаси.

Голос его глубоко взволновал Женеста; услышав несколько незначительных слов, произнесенных этим безвестным священником, офицер проникся к нему чуть ли не благоговением.

— Господа, — сказала Жакота, входя, и подбоченилась, остановившись посреди гостиной, — суп подан.

По приглашению Бенаси, который обратился ко всем по очереди, не соблюдая старшинства, пятеро гостей доктора прошли в столовую и уселись за стол, выслушав предобеденную молитву, которую кюре произнес вполголоса безо всякой напыщенности. Стол был накрыт скатертью из камчатного полотна, изобретенного при Генрихе IV искусными ремесленниками братьями Грендорж, по имени которых названа эта прочная ткань, хорошо известная хозяйкам. Скатерть сверкала белизной и пахла чебрецом — его употребляла Жакота, когда бучила белье. Ни

малейшего изъяна не было на белой фаянсовой посуде с синей каймой. А такие графины старинной восьмиугольной формы в наши дни уцелели только в провинциальной глуши. Черенки ножей из резного рога изображали причудливые фигурки. И каждый, рассматривая все эти старинные, но отлично сохранившиеся предметы роскоши, находил, что они под стать благодушию и чистосердечию хозяина дома. Женеста залюбовался крышкой суповой миски, украшенной выпуклою гирляндою из овощей прекрасной расцветки в духе Бернара Палисси, знаменитого керамиста XVI века. Общество было своеобразное. Мужественные лица Бенаси и Женеста резко отличались от иконописного лика г-на Жанвье; а лицо нотариуса казалось еще моложе рядом с поблекшими физиономиями мирового судьи и помощника мэра. Как будто все человеческое общество было представлено этими различными лицами, равно выражавшими довольство своей жизнью, уверенность в настоящем и будущем. Лишь г-н Тонеле и г-н Жанвье, еще мало видавшие на своем веку, любили гадать о том, какие события ждут их впереди, ибо чувствовали, что будущее принадлежит им, остальные же гости, должно быть, предпочитали вести беседу о про-

шедшем; все они с одинаковой серьезностью говорили о жизни, и два оттенка было в печали, окрашивавшей их суждения: один напоминал бледный свет вечерних сумерек — то были полустершиеся воспоминания о радостях, которым не суждено повториться, другой же напоминал зарю, вселяющую надежду на погожий день.

— Вы, вероятно, порядком устали сегодня, господин кюре? — спросил Камбон.

— Устал, сударь, — ответил Жанвье, — беднягу кретина и дядюшку Пельтье хоронили в разное время.

— Теперь можно снести лачуги в старой деревне, — сказал Бенаси своему помощнику. — Целина из-под снесенных домов даст нам по крайней мере арпан луга; к тому же община сбережет сто франков, которые шли на содержание кретина Шотара.

— Надо года три отчислять эту сотню на постройку дорожного моста в низине, там, где разливается ручей, — заметил Камбон. — У жителей селения и долины вошло в привычку проходить по участку Жана-Франсуа-Пастуро: вконец потравят и истопчут участок, нанесут изрядный ущерб бедняге.

— Верно, — сказал мировой судья, — лучшего

применения этим деньгам не найти. По-моему, вопрос о тропинках, проложенных на чужих землях, — один из самых больных в деревне. Десятую долю тяжб у мирового судьи составляют притязания на чужие владения. Не сосчитать кантонов, где безнаказанно посягают на права собственности. Уважение к чужой собственности и уважение к закону — чувства, которыми частенько пренебрегают во Франции, а их-то и надобно поощрять. Многие считают бесчестным содействовать закону, и слова «Бог тебе судья», вошедшие в пословицу и будто бы подсказанные похвальным чувством великодушия, на самом деле — ханжеская отговорка и только прикрывают наше себялюбие. Надо признаться, нет в нас патриотизма! Истинный патриот — это гражданин, настолько проникнутый сознанием того, как важен закон, что готов исполнять его даже на свой страх. Ведь, отпуская преступника с миром, становишься виновником его будущих злодеяний.

— Одно вытекает из другого, — сказал Бенаси. — Прокладывали бы мэры дороги получше — не было бы тропинок. А если бы муниципальные советники были пообразованней, то поддерживали бы владельца и мэра, когда те противятся

притязаниям на чужое имение; и все бы внушали невеждам, что замок, поле, хижина, дерево — одинаково священны и что нельзя говорить о большем или меньшем праве в зависимости от ценности владений. Но сразу не добьешься такого поворота к лучшему, прежде всего это зависит от нравственности населения, а ее мы не можем изменить вполне без действенного вмешательства священников. К вам это, господин Жанвье, конечно, не относится.

— Я и не принимаю на свой счет, — ответил с усмешкой кюре. — Ведь я стараюсь сочетать устои католицизма с вашими взглядами на управление. Нередко пытался я, читая проповеди о том, как пагубно воровство, внушить прихожанам те же взгляды на право, какие вы сейчас высказали. В самом деле, бог ведь осуждает воровство не по стоимости украденной вещи: он судит вора. Вот смысл притч, которые я пытался приноровить к пониманию моих прихожан.

— И вы добились успеха, господин кюре, — сказал Камбон. — Я-то могу судить о переменах, которые благодаря вам произошли в умах, когда сравню, чем была и чем стала община. Уж, конечно, мало найдется кантонов, где бы люди так добросовестно работали, как у нас, не жа-

лея времени. Скот стерегут отлично, и потравы бывают только случайно. Лес щадят. К тому же вам удалось втолковать нашим крестьянам, что наградой за бережливость и труды являются зажиточность и отдых.

— Значит, вы вполне довольны своими подначальными, господин кюре? — спросил Женеста.

— Господин капитан, — ответил священник, — не следует уповать, что встретишь на земле ангелов. Повсюду — где нищета, там и страдание. Страдание и нищета — две живые силы, которые можно употребить во зло, как и власть. Когда крестьяне, отмахав два лье до пашни, под вечер, измучившись от работы, плетутся домой и видят, как охотники шагают напрямик по полям и лугам, спеша к обеду, думаете, они не последуют такому заманчивому примеру? Кто же из двух сокращающих себе таким способом дорогу преступает закон, как тут сейчас сетовали? Тот ли, кто работает, или тот, кто развлекается? Ныне богачи и бедняки огорчают нас одинаково. Вера, как и власть, должна всегда спускаться с высот небесных или с высот общества, а в наши дни у высших классов, безусловно, веры меньше, чем у народа, которому бог обещал царство небесное в воздаяние за терпеливо переносимые тяготы

жизни. Хотя я всецело подчиняюсь правилам церкви и указаниям вышестоящих духовных лиц, но все же думаю, что нам давно бы следовало относиться менее требовательно к вопросам обрядности и стараться оживить религиозное чувство в душе людей среднего сословия, которые спорят о христианском вероучении, вместо того чтобы следовать ему. Философские домыслы богача послужили роковым примером для бедняка и вызвали чересчур длительные смуты у престола веры. Только личное наше влияние позволяет нам добиться чего-нибудь от нашей паствы, а разве мыслимо, чтобы крепость веры в целой общине зависела от уважения, которым пользуется тот или иной человек? Когда христианство вновь одухотворит общественный порядок и его охранительные принципы проникнут во все классы, тогда будут соблюдаться и обряды. Обряды религии — это ее внешняя форма, а общество существует лишь благодаря форме. Вам — знамена, а нам крест…

— Господин кюре, хотелось бы мне знать, — сказал Женеста, перебивая Жанвье, — почему вы не позволяете здешним беднякам поразвлечься, потанцевать в воскресные дни.

— Господин капитан, — ответил кюре, — танцы

сами по себе мы не порицаем, мы возбраняем их как причину безнравственности, которая смущает покой и портит деревенские нравы. Блюсти чистоту семейного духа, хранить святость семейных уз — не значит ли это в корне пресекать зло?

— Известно, — заметил Тонеле, — что не найдешь кантона, где бы не творили бесчинств, у нас же они бывают все реже и реже. Иные здешние крестьяне, когда пашут, не постесняются и прихватить у соседа борозду земли или срежут, если понадобится, чужой ивняк, да ведь все это пустяки по сравнению с тем, как грешат горожане. Я нахожу, что обитатели нашей долины — народ на редкость благочестивый.

— Благочестивый? — отозвался, усмехаясь, кюре. — Бояться религиозного фанатизма здесь нечего.

— Да ведь если бы сельские жители, — возразил Камбон, — что ни утро ходили к обедне да исповедовались у вас каждую неделю, некому было бы обрабатывать поля, к тому же тут не управились бы даже три священника.

— Сударь, — подхватил кюре, — работать — значит молиться. Слишком усердное посещение церковных служб мешает пониманию самой

сущности религии и ее устоев, а именно они и дают жизнь обществу.

— А как вы смотрите на патриотизм? — спросил Женеста.

— Патриотизм, — внушительно ответил кюре, — вселяет лишь преходящие чувства, религия же делает их долговечными. Патриотизм — это временное забвение личной выгоды, христианство же — целая система, противоборствующая порочным склонностям человека.

— Однако, сударь, в пору революционных войн патриотизм…

— Да, в пору революции мы творили чудеса, — прервал Бенаси офицера, — но прошло двадцать лет, и в тысяча восемьсот четырнадцатом году нашего патриотизма как не бывало. А ведь когда Францию и Европу двигали идеи религиозные, за сто лет чуть ли не двенадцать раз совершались походы в Азию.

— Быть может, — вставил мировой судья, — нетрудно устранить материальные причины, из-за которых народы идут войной друг на друга, но войнам, предпринятым во имя религиозных догматов и не имеющим строго определенной цели, право же, нет конца.

— Что же, сударь, так вы и не попотчевали

рыбой? — сказала Жакота, убиравшая с помощью Николя грязные тарелки со стола.

Стряпуха, верная своим привычкам, вносила кушанье за кушаньем — обычай, неудобство которого заключается в том, что любителям покушать приходится много есть, а люди воздержанные, насытившиеся после первых же блюд, вынуждены отказываться от самого вкусного.

— Вы только послушайте, господа! — воскликнул священник и обратился к мировому судье. — Как это вы можете утверждать, что религиозные войны не преследовали определенной цели? Некогда религия являлась такой могучей силой в обществе, что интересы материальные были просто неотделимы от религиозных вопросов. Поэтому-то каждый солдат отлично знал, ради чего он сражается…

— Если люди столько сражались из-за религии, — заметил Женеста, — значит, господь бог построил ее на весьма несовершенных основах. Ведь всякое божественное установление должно поражать людей своей непреложностью.

Все посмотрели на кюре.

— Господа, — сказал Жанвье, — религию чувствуют, а не определяют. Не нам судить о путях всемогущего.

— Выходит, верь в ваше шаманство, — сказал Женеста с непосредственностью солдата, которому не случалось задумываться о боге.

— Сударь, — строго ответил священник, — ни одна религия так не умиротворяет нас, не рассеивает наши тревоги, как религия католическая, да и, кроме того, что вы теряете, веруя в ее истины?

— Да, пожалуй, немногое, — сказал Женеста.

— Так-то, а вот неверие ваше может стоить вам дорого. Лучше поговорим, сударь, о земном, это вас касается ближе. Смотрите, как перст божий отпечатался на делах житейских, коих господь касается рукою своего наместника. Люди утратили многое, свернув с путей, проторенных христианством. Прочесть о церкви редко кто удосужится, и судят о ней на основании ошибочных представлений, умышленно распространяемых в народе, а между тем церковь явила безукоризненный образец того государственного строя, какой теперь стараются учредить. Выборный принцип сделал ее надолго большой политической силой. Некогда все религиозные установления были основаны на свободе, на равенстве. Все пути содействовали общему делу. Настоятель, аббат, епископ, генерал духовного ордена, папа — все они добросовестно выбирались сообразно

нуждам церкви, были выразителями ее духа, слепое повиновение им считалось обязательным. Умолчу о том, как благодетелен был для человеческого общества этот дух, объединивший людей в нации, вдохновивший человека на создание поэм, соборов, статуй, картин и музыкальных произведений, которым нет числа, и обращу ваше внимание лишь на то, что наши народные выборы, суд присяжных, обе палаты корнями уходят в поместные и вселенские соборы, соборы епископов и коллегии кардиналов, с тем лишь различием, что современные философские представления о цивилизации бледнеют, по-моему, перед возвышенной и божественной идеей католического единения — прообразом всечеловеческого единения, завершенного словом и делом христовым, вылившимся в религиозный догмат. Новому политическому строю, каким бы совершенным он ни представлялся, нелегко будет творить чудеса, которые возможны были в те времена, когда церковь являлась опорою человеческого разума.

— Почему? — спросил Женеста.

— Во-первых, потому, что выборность можно возвести в политический принцип только при полнейшем равенстве избирателей, которые

должны быть «равными величинами», — прибегаю к геометрическому выражению, — а современным политикам этого не добиться вовеки. Кроме того, великие общественные деяния совершаются лишь благодаря силе чувств, и лишь эта сила может объединить людей, а нынешние лжемудрецы основали законы на принципе личной выгоды, которая разобщает людей. Некогда чаще, чем теперь, в мире встречались люди, одушевленные бескорыстным, самоотверженным сочувствием к тем, чьи права попраны, к страданиям народным. Поэтому священник, этот представитель среднего сословия, противостоял материальной силе и защищал народ от его врагов. В свое время у церкви были земельные владения, но привело это к тому, что земные блага, которые, казалось бы, должны укрепить ее, подорвали ее жизнедеятельность. В самом деле, раз священник пользуется особыми правами на собственность, значит, он угнетатель; раз государство оплачивает его, значит, он чиновник, за это он обязан отдавать время, душу, жизнь; сограждане вменяют добродетель ему в обязанность, и его стремления к добру, оскудев вместе с принципом свободной воли, глохнут в его сердце. Но когда священник беден, когда

он — священник по призванию и когда вся его опора в Боге, а все богатство — в сердцах паствы, он вновь превращается в миссионера, проповедовавшего в Америке, он — апостол, он — князь добра. Словом, бедность делает его всевластным, богатство же его губит.

Жанвье завладел всеобщим вниманием. Гости молчали, размышляя над словами, которых никто не ждал от простого кюре.

— Господин Жанвье, в истины, высказанные вами, вкралась немаловажная ошибка, — сказал Бенаси. — Вы знаете, я не люблю спорить о том, что такое общее благо, — нынче его любят обсуждать и писатели, и власть имущие. По-моему, если человек постиг сущность какой-либо политической системы и если он чувствует в себе силу осуществить ее, он должен умолкнуть, захватить власть и действовать; но если он пребывает в блаженном неведении, как простой обыватель, то его стремление переубедить народ разглагольствованиями будет безумием. И все же, милейший наш проповедник, с вами я поспорю потому, что сейчас обращаюсь к людям честным, привыкшим совместно отдавать свои знания поискам истины. Мысли мои, пожалуй, покажутся вам странными, но они являются плодами

размышлений и внушены мне бедственными событиями последних сорока лет. Всеобщая подача голосов, которой ныне требуют лица, принадлежащие к так называемой конституционной оппозиции, была великолепным принципом в применении к церкви, ибо, как вы отметили, дорогой проповедник, все священнослужители были образованны, религиозное чувство приучило их к повиновению, образ мыслей был у них один, все они хорошо знали, чего хотят и куда идут. Но если бы восторжествовали идеи, при помощи которых современный либерализм безрассудно ведет борьбу с процветающим правительством Бурбонов, погибли бы и Франция, и сами либералы. Вожди *левых* это хорошо знают. Для них борьба — просто-напросто вопрос власти. Ежели, упаси боже, буржуазия под знаменем оппозиции ниспровергнет социальные преимущества, непереносимые для ее тщеславия, тотчас же вслед за этим торжеством она начнет борьбу против народа, который впоследствии будет видеть в ней своего рода знать, правда, измельчавшую, но ее богатства и привилегии будут особенно ненавистны ему, потому что он еще сильнее ощутит их на своей спине. В этой борьбе общество, я не говорю народ, погибло бы

вновь, ибо временному торжеству обездоленного народа сопутствуют величайшие неурядицы. Борьба была бы ожесточенной, непримиримой, ибо питали бы ее бесчисленные разногласия между избирателями, менее образованная и наиболее многочисленная часть которых одержала бы верх над высшими кругами общества при такой системе, когда важно число голосов, а не их ценность. Из этого следует, что государственный строй тем налаженнее и устойчивее, а значит, и тем совершеннее, чем теснее круг, чьи привилегии он должен защищать. То, что я называю «привилегией», не имеет ничего общего с правами, когда-то противозаконно пожалованными избранным в ущерб остальным, нет, она относится к тому кругу общества, в котором сосредоточились функции власти. Власть в некотором роде — сердце государства. Природа же в любое свое творение вкладывает сгусток жизненных сил, чтобы придать им большую действенность: это относится и к политическому организму. Поясню свою мысль примерами. Предположим, что во Франции сто пэров, они будут причиною сотни столкновений. Упраздните пэрство, и все богачи станут людьми привилегированными; вместо ста привилегированных

у вас их будет десять тысяч, и вы расширите язву общественного неравенства. В самом деле, народ считает, что право жить, не работая, само по себе — привилегия. В его глазах тот, кто потребляет, не производя, — хищник. Ему нужно воочию видеть, как трудится человек, он ни во что не ставит плоды труда умственного, которые его же и обогащают. Итак, умножая количество причин для столкновения, вы распространяете борьбу на все слои общества, вместо того чтобы ограничить ее узким кругом. Когда нападение и сопротивление делаются всеобщими, катастрофа неминуема. Богачей будет всегда меньше, нежели бедняков; значит, как только борьба станет физической, победа окажется на стороне бедняков. История подтверждает мои положения. Римская республика покорила мир, установив сенаторские привилегии. Сенат олицетворял власть. Но когда всадники и пришлые люди приняли участие в управлении государством, то есть когда сословие патрициев расширилось, Республика погибла. После Суллы и даже после Цезаря Тиберий превратил ее в Римскую империю — систему, где власть, сосредоточенная в руках одного человека, продлила на несколько столетий существование этой великой державы. Когда Вечный

город пал при нашествии варваров, в Риме не было больше императора. Когда наша земля была завоевана, франки, поделив ее между собой, придумали феодальные привилегии, чтобы сохранить неприкосновенность своих владений. Сотни, даже тысячи вождей, завладевших страной, создали собственные установления, чтобы оградить свои права, приобретенные завоеванием. Феодализм держался до той поры, покуда привилегии были ограниченны. Но когда вместо пятисот «человек особой породы» — истинный перевод слова дворянин — их стало пятьдесят тысяч, произошел государственный переворот. Власть дворян была слишком распылена, а потому лишена энергии и силы, к тому же дворяне оказались беззащитны перед непредвиденным для них раскрепощением денег и мысли. Итак, если буржуазия, восторжествовав над монархическим строем, преследует цель увеличить в глазах народа число привилегированных, то неизбежным следствием такой перемены будет то, что народ восторжествует над буржуазией. Если же переворот свершится, то толчком к нему послужит распространение избирательного права на все слои общества без ограничений. Тот, кто голосует, — спорит, а спорной власти быть

не может. Представляете ли вы себе общество без власти? Нет. Так вот, власть означает силу. Сила же должна опираться на неоспоримые решения. Все это привело меня к мысли, что выборный принцип — один из гибельнейших для современных правительств. Мне кажется, я доказал на деле свою преданность классу обездоленных и бедняков, и надеюсь, что меня не обвинят в том, будто бы я желаю ему зла; тем не менее, восхищаясь его трудовым путем, преклоняясь перед его терпением и покорностью, я все же утверждаю, что принять участие в управлении страной он не способен. Мне представляется, что пролетарии — это несовершеннолетние дети народа и что они должны оставаться под опекой. Итак, по-моему, господа, слово *принцип выборности* причинит почти столько же ущерба, сколько его наделали слова — *совесть* и *свобода*, понятые неправильно, неправильно истолкованные и брошенные народом как клич восстания и призыв к разрушению. Опека над народом кажется мне, таким образом, справедливой и необходимой для поддержания общества.

— Такая система настолько противоречит всем нашим современным взглядам, что мы считаем себя вправе попросить у вас разъяснений, — ска-

зал Женеста, прерывая доктора.

— Извольте, капитан.

— Да что ж это говорит хозяин! — воскликнула Жакота, воротясь на кухню. — Хорош наш голубчик, никак, советует им прижать народ, и ведь они его слушают.

— Вот уж чего не ожидал от господина Бенаси, — подхватил Николь.

— Я требую жестких законов для обуздания невежественной толпы с одной целью, — продолжал, немного помолчав, доктор, — для того чтобы все звенья общественной системы стали гибкими и податливыми и позволяли пробиться тому, у кого есть воля и способность подняться до уровня высших классов. Всякая власть заботится о самосохранении. Ныне, как и прежде, правители, чтобы существовать, должны вводить в свою среду людей сильных, выискивая их повсюду, и тем самым создавать себе защитников, а у народа отнимать деятельных людей, которые побуждают его к восстанию. Если государство открывает для общественного честолюбия эти одновременно тяжелые и легкие пути — тяжелые для людей слабовольных и легкие для людей с твердой волей, — то оно предупреждает революции, которые являются следствием помех, встающих

перед личностями, поистине выдающимися в их стремлении подняться вверх до подобающего им уровня. Сорок лет потрясений, пережитых нашей страной, должны были доказать здравомыслящему человеку, что выдающиеся личности порождаются социальным строем. Их превосходство бывает троякого рода, и оно неоспоримо. Это превосходство в области мысли, превосходство в области политики и превосходство в имущественном положении. Разве это не соответствует таланту, власти и богатству или, иначе говоря, основе, средству и результату. Предположим, что перед нами, так сказать, целина, что на ней полное равенство общественных слоев, равномерная рождаемость, одинаковый земельный надел для каждой семьи, и все же пройдет время, и вы снова увидите неравенство состояний, существующее ныне. Из этой очевидной истины вытекает, что превосходство в богатстве, уме и власти — факт, с которым приходится мириться, но народ всегда будет рассматривать его как злоупотребление, видя привилегии в правах, приобретенных самым справедливым образом. Отсюда явствует, что общественный договор неизменно будет союзом имущих против неиму-

щих[9]. А значит, и законы будут создаваться теми, кому они идут на пользу и кому необходимо обладать инстинктом самосохранения и предвидеть опасности. Спокойствие народа им важнее, нежели самому народу. Народам надобно получать готовое счастье. Ежели вы будете рассматривать все общество в целом именно с такой точки зрения, то не замедлите признать вместе со мною, что избирательным правом должны пользоваться только люди, обладающие богатством, властью или умом, а также, что поле деятельности депутатов должно быть чрезвычайно ограниченным. Законодателю, господа, подобает быть выше своего века. Он улавливает общее направление ошибок и определяет, куда клонится мысль народа; значит, трудится он скорее для будущего, нежели для настоящего, скорее для поколения подрастающего, нежели отживающего. Итак, вы призываете весь простой люд к созданию законов, но способен ли он подняться выше своего уровня? Нет. Чем точнее собрание

[9] Примечания: 9

«...общественный договор неизменно будет союзом имущих против неимущих». — Жан-Жак Руссо в своей работе «Общественный договор» утверждал, что государство возникло в результате договора между собой свободных независимых индивидов. Бальзак употребляет здесь выражение «общественный договор» как синоним понятия «государство».

депутатов отразит мнение толпы, тем хуже будет оно управлять государством, тем менее возвышенны будут его взгляды, тем неопределенней и неустойчивей будет его законодательство, ибо толпа есть толпа и всегда ею будет. Закон требует подчинения установленным правилам, а всякое правило противоречит укоренившимся нравам и личным интересам; станет ли толпа направлять законы против себя же? Нет. Часто законы должны идти наперекор нравам. Подгонять законы под общий уровень нравов — не значит ли это создавать в Испании поощрительные премии за религиозную нетерпимость и праздность, в Англии — за торгашеский дух, в Италии — за любовь к искусствам, предназначенным выражать дух общества, но не способным быть выразителем всего общества; в Германии — за дворянские иерархии, во Франции — за легкомыслие, моду на идеи, за стремление разделиться на политические партии, что всегда нас губило.

Что произошло в нашей Франции за сорок с лишним лет, то есть с той поры, как избирательные коллегии наложили руку на законы? У нас сорок тысяч законов. У народа, имеющего сорок тысяч законов, нет закона. Могут ли пятьсот заурядных умов возвыситься до задач такой важ-

ности? Нет. Ведь за целое столетие не найти и сотню людей большого ума. Людям, стекающимся из пятисот различных местностей, никогда не понять одинаково суть закона, а закон должен быть един. Далее. Рано или поздно законодательное собрание подпадает под власть одного человека, и вместо королевских династий у вас будут сменяющие друг друга и дорого стоящие династии премьер-министров. После всяческих свар появляются разные Мирабо, Дантоны, Робеспьеры или Наполеон: проконсулы или император. В самом деле, чтобы поднять определенную тяжесть, надобно располагать определенной силой; сила эта может быть распределена на большее или меньшее число рычагов, но в конечном счете сила должна быть соразмерна тяжести: в данном случае тяжесть — это темный, бедствующий простолюдин, первый пласт всякого общества. Власти — а по своей природе она притеснительница — нужна большая сплоченность, чтобы сопротивление ее равно было народному движению. Это применение принципа, который я перед вами развил, говоря о том, что привилегия управления должна быть ограничена узким кругом. Допустите к власти людей талантливых — и они подчинятся этому естественному закону

и подчинят ему страну; а вот если вы соберете людей заурядных, то рано или поздно их победит человек более одаренный: депутат, наделенный большим умом, входит в государственные соображения, заурядный идет на сделку с силой. В итоге законодательное собрание уступает какой-нибудь идее, как Конвент во время террора, или силе, как Законодательный корпус при Наполеоне, наконец, определенной системе управления или деньгам, как это происходит в наши дни. Республиканское собрание, о котором мечтают некоторые умники, невозможно; те, кто стремится к нему, — простофили или будущие тираны. Неужели собрание, где только разглагольствуют об опасностях, грозящих народу, в то время когда надобно заставить его действовать, не кажется вам нелепицей? Пусть у народа будут депутаты, обязанность которых ограничится утверждением или отклонением налогов, — вот что справедливо и что существовало испокон веков и при самом жестоком тиране, и при мягкосердечном государе. Казне всегда нужны деньги; однако ж налоги имеют естественные пределы, при превышении которых народ или восстает, отказываясь платить, или склоняет голову и умирает. Если выборная корпорация, такая же

изменчивая, как те нужды, как те идеи, которые она представляет, не хочет повиноваться несправедливому закону — все хорошо. Но предполагать, что пятьсот человек, явившихся из всех уголков империи, создадут хороший закон, — просто скверная шутка, и за нее рано или поздно придется расплачиваться народам. Тогда они сменят тиранов, вот и все. Власть, закон должны быть в руках одного человека, который силою обстоятельств вынужден постоянно представлять свои действия на всеобщее одобрение. Однако только религиозные учреждения могут обуздывать власть одного, или нескольких человек, или всей массы народа. Религия — единственный по-настоящему действительный противовес злоупотреблениям верховной власти. Если у народа гибнет религиозное чувство, то он становится бунтовщиком по убеждению, а государь — тираном по необходимости. Палаты, эти посредники между государями и подданными, являются лишь некой примирительной инстанцией. И следовательно, законодательные собрания становятся соучастниками мятежа или тирании. Тем не менее хоть единовластие, к которому я склоняюсь, и хорошо, но хорошо не безусловно, ибо в итоге политика будет неизбежно зависеть от нравов и

верований. Если народ одряхлел, если мудрствования и дух противоречия в корне испортили его, то народ этот идет к деспотизму, несмотря на всяческую видимость свободы; истинно мудрые народы почти всегда завоевывают свободу при соблюдении внешних форм деспотизма. Из всего этого вытекает, что необходимо резко ограничить избирательные права, необходима сильная власть, необходимо могучее религиозное чувство, которое превращает богача в друга бедняка и предписывает бедняку полнейшую покорность. Одним словом, поистине неотложное дело — свести права собраний депутатов к тому, чтобы они разрешали лишь вопросы о налогах и только утверждали законы, а не были их творцами. Знаю, многие думают по-иному. Ныне, как и прежде, встречаются люди, с жаром ищущие *лучшего*, им непременно хочется устроить общество поразумнее. Однако новшества, цель которых произвести коренные социальные сдвиги, нуждаются во всеобщем одобрении. Да будут терпеливы те, кто вводит новое. Когда я подсчитываю, сколько времени понадобилось, чтобы утвердить христианство — переворот духовный, которому надлежало совершаться мирно, то содрогаюсь, размышляя о бедах, какие повлечет за

собою переворот, связанный с земными благами, и решительно поддерживаю существующий порядок вещей. Пусть каждый мыслит по-своему — провозгласило христианство; пусть каждый обрабатывает свое поле — провозглашает закон современности. Закон современности согласуется с христианством. Пусть каждый мыслит по-своему — это освящение духовных прав; пусть каждый владеет своим полем — это освящение права на собственность, приобретенную благодаря старанию и трудолюбию. Так создалось наше общество. Природа сделала чувство самосохранения основой жизни человека, а жизнь всего общества построена на личной выгоде. Таковы, по-моему, подлинные политические устои. Религия, подавляя оба эти эгоистические чувства верою в будущую жизнь, сглаживает острые углы общественных взаимоотношений. Таким образом, внушая нам религиозное чувство, почитающее добродетелью забвение самого себя, господь смягчает страдания, порождаемые столкновением человеческих интересов, как он неведомыми законами умеряет трение в механизме мироздания. Христианство учит бедняков терпеть существование богачей, а богачей — облегчать горькую долю бедняков; по-моему, это и

есть, в двух словах, сущность всех божественных и человеческих законов.

— Я не государственный деятель, — вставил нотариус, — и мне самодержец представляется в образе лица, уполномоченного улаживать расчеты по долгам в каком-нибудь торговом обществе, которое постоянно находится в состоянии ликвидации, и преемнику своему он передает ту же наличность, какую получил сам.

— Не государственный деятель и я, — с живостью возразил Бенаси, прерывая нотариуса. — Чтобы улучшить жизнь общины, кантона или округа, нужно всего лишь обладать здравым смыслом; тому, кто управляет департаментом, уже необходим талант, однако пределы четырех этих административных сфер деятельности ограниченны, и чтобы их охватить, не нужен широкий кругозор; их интересы связаны совершенно явными узами с жизнью всего могучего государственного организма. В высших сферах все принимает больший размах, и государственный деятель должен обозревать все то, над чем он поставлен. Много хорошего создашь в департаменте, округе, кантоне или общине, если предвидишь, какие это даст плоды, лет на десять вперед; когда же дело идет о целом народе,

должно предугадывать его судьбы, делая расчет на столетие. Гениальность всех Кольберов и Сюлли — ничто, ежели она не опирается на волю, создающую Наполеонов и Кромвелей. Большой государственный деятель, господа, — это большая мысль, запечатлевшаяся в каждой године столетия, расцвет и благоденствие которого им приуготовлены. Твердость — добродетель, необходимая ему превыше всего. Да и во всех делах человеческих твердость — это наивысшее выражение силы. С некоторых пор развелось чересчур уж много людей с казенными мыслишками, а не идеями национального размаха; потому-то мы и видим в настоящем государственном деятеле воплощение самого высокого человеческого идеала. Всегда все предвидеть и опережать события, быть выше упоения властью и оставаться у власти лишь потому, что сознаешь, как ты полезен, не обольщаясь относительно своих сил, отрешиться от личных страстей и даже обычного честолюбия, чтобы всегда владеть всеми своими способностями, чтобы неустанно предвидеть, хотеть и действовать; быть справедливым и непоколебимым, поддерживать всеобщий порядок, не слушать голоса сердца и внимать только рассудку; не быть ни подозрительным, ни довер-

чивым, ни сомневающимся, ни легковерным, ни признательным, ни неблагодарным; не отставать от современности, не быть застигнутым врасплох какой-либо идеей; наконец, жить чувствами народа и всегда держать его в своей власти, воздействуя на него окрыленной мыслью, проницательным взглядом, мощью голоса, видеть не мелочи, а следствия всякого начинания, — разве не значит это быть более, нежели человеком? Поэтому-то народы должны вечно чтить имена этих своих великих и благородных отцов.

Наступило недолгое молчание, гости переглянулись.

— Господа, об армии-то вы ничего не сказали, — воскликнул Женеста. — По-моему, военное устройство — это истинный образец для всякого гражданского общества: шпага — покровительница народа.

— Капитан, — смеясь, ответил мировой судья, — некий престарелый адвокат изрек, что империи начинали со шпаги, а кончали чернильницей, вот мы и дошли до чернильницы.

— Господа, судьбы мира мы разрешили, поговорим о чем-нибудь другом. А ну-ка, стаканчик монастырского вина, капитан, — воскликнул со смехом доктор.

— Не откажусь и от двух, — сказал Женеста, протягивая стакан, — мне хочется осушить их за ваше здоровье, за здоровье того, кто делает честь всему роду человеческому.

— И кого все мы горячо любим, — сказал кюре голосом, исполненным кротости.

— Уж не хотите ли вы, господин Жанвье, чтобы я согрешил, впав в гордыню?

— Господин кюре сказал тихо то, о чем целый кантон говорит во весь голос, — возразил Камбон.

— Давайте, друзья, проводим господина Жанвье домой и прогуляемся при лунном свете.

— Согласны, — откликнулись гости, которые сочли своим долгом оказать внимание кюре.

— Зайдем на посиделки, — сказал доктор, попрощавшись с кюре и гостями и взяв Женеста под руку. — Там, капитан Блюто, вы услышите о Наполеоне. Кое-кто из моих приятелей-крестьян постарается, чтобы почтарь Гогла рассказал об этом кумире нашего народа. Николь, мой конюх, приставил к сараю лестницу, и мы взберемся через слуховое окно на самый верх — на сеновал, в такое местечко, откуда все увидим. Послушайтесь меня, пойдемте: стоит посмотреть на наши посиделки. Не впервые зарываюсь я в сено и

слушаю солдатский рассказ или сказку из уст крестьянина. Только вот спрятаться надо хорошенько, ведь они такие чудаки: едва заприметят чужого — сразу начинают разводить церемонии и смущаются.

— Э, любезный мой хозяин, — сказал Женеста, — и я частенько прикидывался спящим, чтобы послушать разговоры своих кавалеристов где-нибудь на привале, ночью. Знаете ли, никогда я так не хохотал даже в парижских театрах, как однажды, когда старый унтер-офицер с шутками и прибаутками рассказывал новобранцам, боявшимся войны, об отступлении из Москвы. По его словам, французская армия заболела медвежьей болезнью, питьем ее потчевали прямо со льда, покойники делали привал в сугробах, французы воочию видели Белую Русь, коней скребли зубами, охотники кататься на коньках вдоволь наскользились, любители мясного студня наелись до отвала, женщины были в общем-то холодны, но, по сути дела, одно лишь всем и досаждало — горячей воды для бритья не было. Словом, он отмачивал такие шутки, что хохотал сам старик фурьер с отмороженным носом, прозванный «Носатым».

— Тише! — сказал Бенаси. — Мы пришли, я

полезу первым, а вы — за мной.

Они неслышно взобрались по лестнице и зарылись в сено, устроившись так, что им хорошо были видны крестьяне, собравшиеся внизу на посиделки. Женщины сбились кучками вокруг трех-четырех свечей; кто шил, кто прял, а иные сидели, сложа руки, вытянув шеи, и не сводили глаз с рассказчика — старого крестьянина. Мужчины либо стояли, либо лежали на охапках сена. Группы людей, хранивших глубокое молчание, были едва озарены неверным отблеском свечей, окруженных стеклянными шарами с водою, преломлявшими лучи света, к которому и подсели рукодельницы. И без того слабый свет терялся в огромном сарае, мрачном и темном вверху; мерцающие блики ложились на лица и создавали живописнейшую игру теней. Тут освещен был смуглый лоб и ясные глаза любопытной крестьяночки, там яркая полоса пересекла суровый лоб старика и причудливым узором разрисовала его поношенную и выцветшую одежду. По застывшим лицам людей, сидевших в различных позах и сосредоточенно слушавших, было видно, что все их мысли поглощены рассказом. Картина была прелюбопытная, она наглядно свидетельствовала о том, какое волшебное воздействие

оказывает на умы поэзия. Крестьянин требует от рассказчика незатейливых чудес или почти правдоподобной небылицы. Не он ли — друг чистой поэзии?

— Хоть дом и хмуро глядел, — рассказывал крестьянин, пока оба новых слушателя усаживались, — но бедная наша горбунья до того притомилась, дотащив коноплю на рынок, что вошла туда, да к тому же и стемнело. Она только переночевать и попросилась, вытащила из котомки корочку и поужинала. А хозяйка, приятельница разбойников, знать не знала, что они ночью уговорились сделать; она, значит, приютила горбунью и уложила наверху, а огня не вздула. Горбунья улеглась на жесткую кроватку, прочитала молитвы, раздумалась о конопле и совсем уж собралась уснуть. Но и задремать не успела, как вдруг слышит шум и видит — входят двое с фонарем; у каждого — по ножу; разобрал ее страх, потому как, знаете ли, в те времена господа любили лакомиться пирогом с человечиной, не наготовятся на них, бывало. Но у старухи от души отлегло, как она подумала, что кожа-то у нее заскорузлая, не годится для господской пищи. Прошли эти двое мимо горбуньи и прямо к кровати, которая рядом стояла в большой горни-

це, — туда-то ведь уложили господина с полным баулом, того самого, что за чернокнижника-то прослыл. Тут парень, который был повыше, фонарь поднял и хвать господина за ноги, а тот, что поменьше, еще пьяным-то прикидывался, — берет господина за голову и — раз! — одним махом начисто ее отрубил. Подхватили они баул, вниз идут, а тело да голова так тут и остались, в крови плавают. Ну, скажу я вам, попалась горбунья! Стала думать, как бы убежать тайком, невдомек ей было, что промысел Божий привел ее сюда, чтобы покарать злодеев во славу Господню. Страх ее обуял, ну а ежели страшно человеку, ни до чего ему дела нету. Тем временем хозяйка возьми да спроси у душегубов, как там горбунья; напугались они, снова полезли наверх, по деревянной лесенке. Старушку трясет от страха, и слышит она, как они шепотком спорят меж собой:

— Убить ее надо, говорю!

— Незачем ее убивать.

— Убей ее!

— Не убью!

Входят. Бабенка наша не дура, закрыла глаза, будто спит. Спит, ну чисто как дитя, руку на грудь положила и дышит, будто херувим. Парень с фонарем ей свет поднес к глазам, а бабенка-то и

не моргнет — до того боится за свою голову.

— Сам видишь — дрыхнет как колода, — говорит большой.

— Хитрющий народ эти старушонки, — отвечает меньший. — Убью-ка я ее, вернее дело будет. Кстати, засолим ее да и скормим свиньям.

Старушка лежит, не шелохнется, слушая такие речи.

— И впрямь ведь дрыхнет, — говорит тот лиходей, что поменьше ростом: видит, старуха не шелохнется.

Так-то вот и спаслась горбунья. Ничего не скажешь — шустрая была старушонка. Вряд ли здешние девицы дышали бы на манер херувимов, если б услышали такие слова. Схватили мертвеца душегубы, завернули в простыни, выбросили на скотный двор, — старуха слышит, свиньи сбежались, захрюкали — хрю, хрю! Вот-вот его слопают. Наутро, — продолжал рассказчик, помолчав, — собралась наша бабенка уходить, за ночлег два су отдала. Взяла свою котомку как ни в чем не бывало, расспросила про деревенские новости, вышла так степенно, а потом бежать припустилась. Да куда там! С перепугу ноги у нее подкашиваются, ей же на счастье. Вот почему. Проплелась она так с четверть лье, вдруг видит —

откуда ни возьмись один из разбойников: следом за ней шел, из хитрости, удостовериться, что она ничего не приметила. Смекнула она это, присела на камень.

— Что с вами, тетушка? — говорит ей разбойник, который поменьше и позлее был; он-то ее и подстерегал.

— Ах, милый человек, — говорит она в ответ, — котомка-то у меня тяжелехонька, и до того я притомилась, что, ежели не поможет мне честный человек (видали, какая бестия?), не доберусь я до своей лачуги.

Тут разбойник вызвался в проводники. Согласилась горбунья. Берет разбойник ее руку, хочет дознаться, не страшно ли ей. Да не на таковскую напал — она и бровью не повела, идет себе как ни в чем не бывало. Потолковали они меж собой о сельском хозяйстве, как коноплю растить, поговорили по-хорошему до самого пригорода, где горбунья жила, там-то с нею и распрощался разбойник — побоялся, как бы с судейскими не столкнуться. Горбунья воротилась к полудню, стала поджидать муженька, а из головы у ней не идет, как она на базар ходила да что ночью было. Вернулся ее хозяин под вечер. Голоден был, пришлось ей за стряпню приняться. Вот смазы-

вает она сковородку, а сама по женскому обычаю тараторит без передышки о том, как коноплю продавала, но ни словечком не обмолвилась ни о свиньях, ни о господине, которого убили, обворовали и сожрали. Ставит она на огонь сковородку, чтоб ее почистить. Снимает с огня, протереть собирается, глядь — а в ней полно крови!

— Что ты сюда положил? — спрашивает она мужа.

А он в ответ:

— Ничего.

Подумала она, что померещилось ей, — на баб ведь находит такая блажь, — и снова ставит сковородку на огонь.

Шлеп! Из трубы голова падает.

— Смотри-ка! Да это голова мертвеца, — говорит старуха. — И как он на меня уставился! Чего же ему от меня надобно?

– *Чтобы ты отомстила за него,* — говорит тут ей чей-то голос.

— Вот дуреха! — сказал торговец коноплей. — Опять несешь околесицу. — Схватил он голову, а она как куснет его за палец, он и вышвырнул ее во двор и говорит:

— Готовь-ка яичницу да перестань чудить, это кошка.

— Кошка? — говорит горбунья. — Да ведь она как шар круглая.

И опять поставила сковородку на огонь… Шлеп! Нога падает. Начинай сначала. Муж и тут ничуть не удивился, схватил ногу и вышвырнул за дверь. Тут упала другая нога, за ней руки, туловище — словом, весь убитый путешественник, по кусочкам. Вот тебе и яичница! А торговцу коноплей до смерти есть хочется.

— Клянусь вечным спасением, — сказал он, — вот изжарится яичница, а там посмотрим, как ублаготворить этого человека.

— Теперь-то ты сам видишь, что это человек? — говорит горбунья. — Чего ж ты толковал, будто не голова это? Спорщик ты несносный.

Разбила старуха яйца, жарит яичницу и ставит ее мужу под нос. И даже ворчать раздумала, очень уж тошно ей стало от всей этой чертовщины. Принимается муж за еду. А горбунья со страху говорит, что сытехонька.

В дверь стучится чужой. Тук, тук!

— Кто там?

— Человек, которого вчера убили.

— Войдите, — отвечает хозяин.

Вот входит путешественник, присаживается на скамейку и говорит:

— Вспомните о Боге, ниспосылающем вечное блаженство тем, кто исповедует имя его. Женщина, ты видела, как меня убивали, что ж ты молчишь? Свиньи сожрали меня! А свиньям в рай пути заказаны, и вот я, христианин, попаду в ад по милости трусливой бабы. Да виданное ли это дело? Спасти меня надо.

Ну, и все в таком роде. Тут горбунью лютый страх разобрал, почистила она сковородку, надела воскресное платье и пошла в суд рассказать о злодеянии; сразу же все раскрылось, и разбойников знатно колесовали на рыночной площади. После такого доброго дела лучшей конопли, чем у горбуньи с ее хозяином, нигде не бывало. А еще того лучше, народился у них долгожданный сынок, и стал он со временем королевским бароном. Вот вам и сказ про храбрую горбунью, и все в нем истинная правда.

— Не нравятся мне такие рассказы, — отозвалась Могильщица. — После них всегда что-нибудь привидится. Мне больше нравится слушать про Наполеона.

— Вот это верно, — подхватил полевой сторож. — Ну-ка, господин Гогла, расскажите нам про императора.

— Посиделки и так затянулись, — ответил

почтарь, — а я не люблю наспех о победах рассказывать.

— Ничего, рассказывайте! Мы-то хоть о них знаем, слыхивали уж не раз, а все слушали бы да слушали.

— Расскажите про императора! — в один голос крикнули несколько человек.

— Так и быть, — ответил Гогла. — Но сами увидите, не то выходит, когда впопыхах рассказываешь. Уж лучше расскажу-ка я вам о каком-нибудь сражении. Хотите о битве под Шан-Обером, когда зарядов не осталось и мы пошли в штыки?

— Нет! Про императора! Про императора!

Ветеран поднялся с охапки сена, обвел собравшихся скорбным взглядом, говорившим о невзгодах, мытарствах и страданиях, по которому отличаешь старых солдат. Он передернул плечами, будто вскидывая на спину походную сумку, где прежде хранилась его одежонка, сапоги; затем оперся всем телом на левую ногу, а правую выставил вперед и собрался рассказывать, уступая настоянию собравшихся. Отбросив седую прядь волос, падавшую ему на лоб, он вскинул голову к небу, будто хотел подняться до высот той эпопеи, о которой собирался поведать.

— Видите ли, други, Наполеон родился на Кор-

сике — остров-то это французский, да припекает его солнце Италии, все там кипит, как в пекле, и жители, будь то отец, будь то сын, прямо так и убивают друг друга из-за любой пустяковины: уж такое у них понятие. Для начала, хотите верьте, хотите нет, скажу, что его мамаша, первая тогдашняя раскрасавица, да к тому же тонкого ума женщина, задумала посвятить его богу, чтобы уберечь ото всех опасностей в детстве и в дальнейшей жизни, а все потому, что в день родов ей приснилось, будто весь мир огнем полыхает. Вещий был сон! Просит, значит, она у Бога защиты, зарок дает, что Наполеон восстановит святую Господню веру, попранную в те времена. Так по уговору их все и вышло.

Слушайте же теперь хорошенько да скажите, спроста ли так получилось!

Вернее верного, что без тайного договора не мог человек скакать сквозь вражеские ряды, сквозь пули и картечь, ведь нас-то валили они, как мошкару, а его головы не трогали. Я самолично был тому свидетелем под Эйлау. Как сейчас вижу, взбирается он на высоту, берет подзорную трубу, смотрит на сражение и говорит:

— Хорошо идет дело!

Один из тех проныр с султаном, которые по-

рядком ему досаждали, таскались за ним всюду и даже, как нам говорили, поесть толком ему не давали, тут очень уж заумничал, и не успел император уйти, как тот пролаза встал на его место. И сразу — султана как не бывало! Начисто срезало! Сами понимаете, Наполеон зарок дал ни с кем тайну не делить. Потому-то все, кто его сопровождал, даже друзья его закадычные, валились, как подкошенные: Дюрок, Бесьер, Ланн — не люди, а стальные брусья, сам ведь он их выковал. Словом, в доказательство тому, что он чадо божье и солдату был в отцы дан, скажу, что никогда его не видывали ни лейтенантом, ни капитаном. Ну да, сразу главным стал. На вид ему и двадцати трех лет не дашь, а он уже давно генерал, с самого взятия Тулона, где он сразу же всем прочим показал, что они ничего не смыслят в наводке орудий. И вот, значит, щупленький такой главнокомандующий является к нам в Итальянскую армию, а у ней ни хлеба, ни снаряжения, ни обуви, ни одежи, нищая армия, прямо сказать — голытьба!

— Други, — говорит он нам, — вот мы и вместе! Попомните мое слово, недели через две победителями будете, оденетесь с иголочки, обзаведетесь шинелями, новенькими гетрами, крепкими башмаками, только, ребята, придется пойти за ними

в Милан, там все это есть.

Ну, и пошли! Встряхнулся француз, а ведь в чем душа держалась! Было нас тридцать тысяч голодранцев против восьмидесяти тысяч немецких забияк — а они все молодцы статные, отменно снаряженные, как сейчас их вижу. Однако же Наполеон, в ту пору всего-навсего Бонапарт, уж сам не знаю, какую силу в нас вдохнул. Идем мы ночь, идем мы день, поколотили их при Монтенотте, одним махом разделались с ними под Риволи, Лоди, Арколе, Миллэсимо, нигде спуску не дали. Солдат пристрастился победы одерживать. И вот Наполеон как накроет немецких генералов, те и не знают, куда им податься, где укрыться, а он-то их тузит на совесть, — случалось, разом отхватит у них тысяч десять человек, а окружит-то всего полутора тысячей французов, да у него один за сотню сойдет; и тут же забирает у неприятеля пушки, припасы, деньги, снаряжение — все, что брать стоило, а самих в воду загоняет, в горах бьет, в воздухе жалит, на суше истребляет, хлещет повсюду. И вот войска оперяются, потому как, видите ли, император, ко всему прочему, был человек умный и умел задобрить жителя, говорил, что пришел освободить его. Ну, значит, обыватель тебя и на квартиру к себе поставит,

и обласкает; бабы жалеют, бабье рассуждало по-справедливому. Ну, одним словом, в вантозе девяносто шестого года, — в те времена теперешний март месяц так называли, — загнали нас в страну сурков, в Савойю; однако поход кончен, и мы хозяева Италии, как и предсказал Наполеон. А в будущем марте месяце, всего лишь год спустя да после двух походов, подвел он нас к самой Вене. Все было сметено: разнесли мы подряд три армии, на тот свет отправили четырех генералов — австрияков, один из них седой старикашка спекся под Мантуей, как крыса в горящей соломе. Короли на коленях просили пощады! Им были предложены условия мира. Под силу ли это было простому смертному? Нет. Бог ему помогал, не иначе. Он множился, как пять евангельских хлебов, днем — командовал сражением, подготовлял его ночью, так что часовые только и видели, как он ходит взад и вперед, не спит и не ест. Вот солдат как уразумел эти самые чудеса, так с тех пор и стал его отцом почитать. И — пошли вперед! А парижская шатия говорит: откуда такой проходимец взялся, с неба он, что ли, пароли получает? Похоже, он Францию к рукам приберет, надобно его на Азию или на Америку напустить, может, там утихомирится. Так уж на роду ему было на-

писано, как Иисусу Христу. Ну, и действительно отдают ему приказ — службу нести в Египте. Вот где он уподобился Сыну Божию. Да это еще не все. Созывает он своих отборных удальцов, которых особливо раззадорил, и так им говорит:

— Дают нам, други, в настоящее время Египет на съедение. Да мы его проглотим в один присест не хуже, чем Италию. Простые солдаты князьями станут, собственные владения получат! Вперед!

— Вперед, ребята! — кричат сержанты.

И вот приходим в Тулон, отсюда дорога на Египет. В ту пору англичане держали все свои суда в море. Когда мы, значит, отчалили, Наполеон и говорит:

— Не приметят они нас, потому что, надобно вам знать, есть у вашего генерала своя звезда в небе, которая ведет нас и охраняет.

Сказано — сделано. Плывем морем, берем Мальту, будто апельсин, чтобы утолить жажду победы, потому человек он такой был, не мог без дела сидеть. Вот мы и в Египте. Так-то. Тут приказ другой. Видите ли, у египтян испокон веков положено вместо государей исполинов держать, и войска у них видимо-невидимо, все равно что муравьев; это, видите ли, страна духов и крокодилов, понастроили там пирамид большущих,

с наши горы, и придумали класть туда своих царей, чтобы сохранять их нетленными, — так, значит, у них повелось. Только вылезаем на сушу, а маленький капрал и говорит нам:

— Ребята, в странах, которые вы идете завоевывать, поклоняются куче всяческих богов, и богов этих уважать надо, потому француз должен быть всем другом, побеждать народы, но не притеснять. Зарубите себе на носу — ничего не трогать для начала, после-то мы все получим! Шагом марш!

Все шло хорошо. Но тамошний народ знал Наполеона по предсказанию, прозывал его Кебир-Бонаберды, что на их наречии означает «Султан, несущий огонь», и боялся его до чертиков. В те поры Турция, Азия, Африка пустились на колдовство и наслали на нас дьявола по прозванию Моди; толковали, будто он спустился с неба на белом коне, и будто коня, как и хозяина, не брало пушечное ядро, и будто оба одним воздухом сыты были. Кое-кто видал его, только я на этот счет ничего наверняка сказать не могу. Арабское начальство и мамелюки толковали своим солдатам, что сила у Моди большая и он не допустит их до погибели в сражении, он, дескать, ангел, посланный победить Наполеона и отнять у него

Соломонову печать, — была у них такая штуковина в арсенале, и ее будто украл у них наш генерал. Сами понимаете, здорово мы им всыпали.

Только вот откуда они узнали про договор Наполеона, а? Опять-таки скажу — неспроста это.

И понятие у них было о нем такое, будто он командует духами и вмиг птицей перелетает с места на место. Да он и в самом деле был вездесущий. И еще будто похитил он у них царицу, красавицу писаную, хотел отдать за нее все свои богатства и алмазы с голубиное яйцо, да мамелюк, у которого она в полюбовницах состояла, хоть он и еще полюбовниц держал, наотрез от сделки отказался. Такая тут вышла распря, что без сражений уладить ее никак нельзя было. За этим остановки не было, пороху у нас на всех хватало. Так-то, значит, заняли мы позиции перед Александрией и перед Гизехом и подступили к пирамидам. Шагать пришлось по солнцепеку, в песках, и у некоторых случилось помрачение в уме, видели они воду, которой не напьешься, видели тень, а сами потом обливались. А мамелюка мы взяли и расколошматили; Наполеон всех усмирил, и захватил он верхний и нижний Египет, Аравию, а также столицы тех царств, которых и в помине уже не было, а осталось только

великое множество истуканов, тьма-тьмущая бесов и, чудное дело, уйма ящериц, а земли там столько, что, коли душе угодно, загребай целыми арпанами. Покуда он хлопотал внутри страны, где намеревался устроить все наилучшим образом, англичане сожгли его флот в сражении под Абукиром, потому как они уж не знали, что и придумать, лишь бы нам досадить. А Наполеона и на востоке и на западе уважали, папа сыном называл, а двоюродный брат Магомета — любезным батюшкой, вот он и пожелал в отместку за потерю флота отобрать у Англии Индию. Собрался он было нас Красным морем вести, в края, где одни тебе алмазы да золото вместо жалованья солдатам, а для постоя — дворцы, но тут Моди столковался с чумой и наслал ее на нас, чтобы нашим победам конец положить. Значит, стой! Или отправляйся на тот самый парад, с которого уж на своих двоих не воротишься. В солдате душа еле держится, куда ему Сен-Жан-д'Акр брать, а все же три раза вторгались туда храбрецы, с упорством и отвагой. Но чума одолела; с нею шутки плохи! Все расхворались. Один Наполеон был свеж, как розан, и вся армия видела, что хоть кругом зараза, а его она не берет. Как думаете, други, это — спроста?

Мамелюки знали, что мы валяемся по лазаретным фургонам, и задумали преградить нам дорогу, да Наполеона не проведешь. Говорит он, значит, своим удальцам, у которых шкуры были покрепче, чем у остальных:

— А ну-ка, расчистите мне путь!

Жюно, первостатейный рубака и вернейший его друг, взял всего лишь с тысячу человек и разделал армию какого-то паши, который вздумал наперерез ему пойти. Значит, вернулись мы в Каир на главные квартиры. Опять новое дело. Без Наполеона Франция осталась на растерзание парижанам, которые придерживали жалованье, белье, одежду солдатам: пусть, мол, подыхают с голоду; а ведь сами хотели, чтобы армия весь мир покорила, но ни о чем не заботились. Болтовней тешились, дураки, вместо того чтобы делом заниматься. Вот армии наши и были разбиты, границы Франции нарушены — ведь *человека* там не было. Видите ли, я говорю *человек* оттого, что его так называли, но это чепуха, потому что у него была звезда и все такое прочее, а людьми-то были мы. Узнал он про дела во Франции после знаменитой битвы под Абукиром, когда, не потеряв и трехсот человек, с одной лишь дивизией победил целое турецкое войско силой в двадцать

пять тысяч человек, да побольше половины опрокинул в море, бабах! Отгремел его гром в Египте. Видит он, что за морем все потеряно, и говорит себе:

— Я спаситель Франции, про то мне известно, и надобно мне туда податься.

Понятное дело, армия знать не знала, что он уехал, иначе бы силой его оставили, чтобы сделать императором Востока.

А мы приуныли, как не стало его с нами, ведь был он нашей отрадой. Передает, значит, он командование Клеберу, — тот вояка хоть куда, да только приказал долго жить — убил его один египтянин и за то был посажен на штык: такая уж казнь заведена в тех краях заместо гильотины; и так он мучился, что один солдатик сжалился над грешником, подал ему флягу; испил воды египтянин и сразу же испустил дух с полным своим удовольствием. Но нам некогда заниматься всякими пустяками. Наполеон сел на скорлупку, на кораблик под названием «Фортуна», и мигом, под самым носом Англии, хоть та и окружила его линейными судами, фрегатами и всем, что под парусом ходило, высадился во Франции: такая уж у него способность всегда была — прямо тебе шагал через море. Тоже, понятно, неспроста. Так

вот! Очутился он во Фрежюсе и, можно сказать, одной ногой уже был в Париже. Там все ему поклоняются, а он созывает правительство:

— Что вы с моими детьми солдатами сделали?! — Вот что сказал он тамошним пустомелям. — Вы — свора тунеядцев, вы на людей плюете и жиреете за счет Франции. Несправедливо это, и я говорю за всех недовольных!

Тут они понесли всякий вздор и задумали прикончить его; но погодите! Он запер их в той самой казарме, где они болтовней занимались[10], заставил прыгать в окна и зачислил в свою свиту; они сразу притихли, стали сговорчивы, как уличные девки. После этой потасовки он сделался консулом; и уж кто-кто, а он не мог сомневаться в верховном существе, поэтому он выполняет обет перед господом богом, поскольку тот без шуток сдержал свое слово: возвращает ему церкви, восстанавливает веру; колокола звонят и во славу божию, и в его славу. Ну, и все довольны: перво-наперво — попы, которыми он больше не дает помыкать, а потом — торговцы,

---

[10] Примечания: 10

«Он запер их в той самой казарме, где они болтовней занимались…» — Подразумевается государственный переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 г.). Сторонники Наполеона оцепили здание, где заседал Совет пятисот, и разогнали его. Правительство Директории было свергнуто.

которые ведут свои дела, не боясь преследования закона, ставшего, было, несправедливым, а в третьих — благородные, которых он защищает от смертной казни, по несчастью ставшей самым обычным делом. Теперь надо приняться за врагов, а он мешкать не любил, к тому же, видите ли, он одним взглядом весь земной шар оглядывал, ну, как глядишь на своего соседа. И вот явился он в Италию, словно в окошко голову просунул: взглянул — и достаточно. Проглотил австрияков под Маренго, как кит пескарей! Ам! Французы задали им такого жара, что о нашей победе весь мир услышал, и этого было достаточно.

— Больше не играем! — сказали немцы.

— Хватит с нас! — сказали все прочие.

Итог: Европа струхнула, Англия пошла на попятный. Всеобщий мир, короли и народы будто уж готовы заключить друг друга в объятия. Тогда-то император и выдумал орден Почетного легиона — превосходнейшая штука, что и толковать. В Булони перед целой армией он сказал так: «Во Франции все храбрецы! Пусть же гражданское население, ежели оно свершит великие деяния, станет братом солдату, и, как братья, они соединятся под знаменем почета». А ведь мы только что вернулись из Египта. Ну и пере-

мены! Расставались мы с ним — генералом он был, а прошло немного времени — и встретили его императором. Ей-богу, Франция влюбилась в него, как красотка в улана. И вот лишь только это случилось, ко всеобщему, можно сказать, удовольствию устроено было пышное коронование, какого еще не видали под небесным сводом. Папа и кардиналы в золотых и алых одеждах спешат напрямик через Альпы венчать его на царство, а войско и народ глядят и рукоплещут. Неправильно было бы, кабы не рассказал я вам об одной штуке. В Египте, посреди пустыни близ Сирии, явился ему на горе Моисея Красный человек и сказал:

— Хорошо идет дело!

Затем под Маренго в самый вечер победы второй раз предстал перед ним Красный человек и сказал:

— Увидишь мир у ног своих и станешь императором французов, королем Италии, господином Голландии, повелителем Испании, Португалии и Иллирийских провинций, охранителем Германии, спасителем Польши, первым кавалером Почетного легиона — словом, всем!

Видите ли, Красный человек был вроде как бы его воображение, а многие говорят, будто он слу-

жил ему гонцом, чтобы сообщаться с его звездой. Я этому никогда не верил; а вот что Красный человек являлся — это уж истинная правда, потому как сам Наполеон рассказывал о нем и говаривал, что Красный человек приходил к нему в трудные минуты и прятался в Тюильрийском дворце, на чердаке. Наполеон увидел его вечером, после коронации. В третий раз они обсудили кучу всяких дел. После того император прямехонько отправился в Милан и венчался королем Италии. Привольная началась жизнь у солдата. Всякий, кто грамотен, производится в офицеры. Дождем сыплются пенсии и герцогства; генералитет задарен сокровищами, которые ничего не стоили Франции, простые солдаты, кавалеры Почетного легиона, оделены рентами, — я и сейчас получаю добавку к пенсии. Словом, армия содержалась так, как никогда и в помине не было. Но император-то знал, что должен стать императором всего мира, вот он призвал богачей и заставил их раскошелиться, возводить всякие чудесные сооружения там, где прежде решительно ничего не было; предположим, возвращаешься ты из Испании по дороге в Берлин, и что ж ты видишь? Триумфальные арки, а на них изваяния простых солдат, и так-то красиво вылеплены — все равно

как генералы. В два-три года, не облагая лишним налогом вашего брата, император наполнил золотом казну, построил мосты, дворцы, дороги; появились ученые, законы, корабли, порты; он устраивал празднества, и тратил он несметные миллионы, столько тратил, что, как мне говорили, мог бы замостить всю Францию монетами по сто су, кабы взбрело ему это в голову. И вот, когда он расположился на троне и стал господином над всеми, а Европа без его разрешения пикнуть не смела, то он, как было у него четыре брата и три сестры, и говорит нам, будто на беседе по суточному приказу:

— Ребята, справедливо ли, что родственники вашего императора побираются? Нет. Желательно мне, чтобы и они жили в пышности, как я! Так вот, крайне необходимо завоевать им по королевству на каждого, чтобы француз властвовал над всеми, чтоб солдаты моей гвардии на весь мир страх нагнали и чтобы Франция поплевывала, куда ей вздумается, а ей бы говорили, как на моей монете выбито: «Да хранит вас бог».

— Идет, — отвечает армия, — добудем тебе королевства штыками.

Э, да что говорить, как видите, отступать не приходилось. Взбрело бы ему на ум луну завое-

вать, стали бы готовиться, собирать походные сумки и полезли бы; по счастью, не было у него такого желания. Короли привыкли нежиться на тронах и, разумеется, заартачились; ну, а наше дело — вперед! Маршируем, шагаем, и опять началась повсюду преосновательная заваруха. Сколько же за те деньки башмаков и людей извели! И тут как пошел неприятель отбиваться, да так попер на нас, что любой бы уморился на месте французов. Но вам-то небезызвестно, — француз от рождения мудрец и знает, что рано или поздно, а умирать придется. И мы умирали, не прекословя, — потому одно удовольствие было видеть, как император вот что вытворяет со всеми географиями. (Тут Гогла ловко очертил ногой круг по земляному полу.) Да еще приговаривает: «Тут будет королевство» — и королевство тут как тут. Хорошие были времена! Не успеешь оглянуться, как полковники становятся генералами, генералы — маршалами, маршалы — королями. Один-то остался в живых[11] и может порассказать об этом Европе, хоть он гасконец и предал Францию, чтобы сохранить корону, даже не по-

[11] Примечания: 11

«Один-то остался в живых...» — Имеется в виду Бернадот Жан-Батист (1763–1844) — маршал Франции; с 1818 г. — король Швеции под именем Карла XIV; принимал участие в коалиции против Наполеона.

краснел от стыда, — понятное дело, короны-то ведь золотые! Словом, саперы, знавшие грамоту, и те в дворяне выходили. Я-то самолично видел в Париже вокруг Наполеона одиннадцать королей и толпу принцев, прямо лучи вокруг солнца. Сами понимаете, раз каждый солдат, коли ему такая удача выпадала, коли он того заслужил, мог на трон сесть, то уж гвардейскому капралу цены не было; каждый из нас свою лепту в победу внес, и вам это было прекрасно известно по императорским бюллетеням. Ну и сражения бывали! При Аустерлице, когда армия маневрировала словно на параде; при Эйлау, когда Наполеон будто дунул — и русских потопили в озере; при Ваграме, когда дрались трое суток и не роптали… Словом, столько их было, сколько святых в святцах. Тут и оказалось, что у Наполеона в ножнах воистину Божий меч. А солдата он уважал, будто о родном сыне пекся, заботился: есть ли у тебя обувь, белье, шинель, хлеб, порох; а держал себя величаво, потому как его дело-то ведь и было царствовать. Но все одно! Любой сержант и даже солдат говорил ему «государь», как вы иной раз говорите мне «дружище». И он слушал, когда ему что советовали, спал, как и мы, на снегу — словом, с виду был обыкновенный человек. Я-то собственны-

ми глазами видел его под картечью: стоит и не поморщится, как вы сейчас, без дела ни минуты не побудет, на месте не сидит, все смотрит в подзорную трубу, ну и как поглядишь на него, на душе становится спокойно. Не знаю, право, как это получалось, но, бывало, поговорит с нами — и будто жаром обдаст, и хочется нам показать ему, что мы его послушные дети, и страх нас не берет, и мы шли как ни в чем не бывало навстречу пушкам — охальницам, которые ревели и без всякого предупреждения осыпали нас градом картечи. Даже умирающие — откуда только у них силенки брались — вставали, чтобы отдать ему честь и крикнуть: «Да здравствует император!»

Разве это спроста? Сделали бы вы все это ради простого смертного?

И вот он управился со всеми делами, а императрица Жозефина, женщина, однако, славная, все не родит ему детей; пришлось ему бросить ее, хоть и сильно любил он ее. Что поделаешь, сынки ему нужны были для дел государственных. Узнали, что у него такое затруднение, правители Европы и передрались из-за того, кто ему невесту посватает. И он взял себе в супруги, как нам сказали, австриячку, из рода Цезаря, — такой был человек в старину, о котором повсюду толкуют, и

не только в наших краях, где одно и слышно, что от него все пошло, но и в Европе; хотите верьте, хотите нет, но я-то самолично проходил над Дунаем и видел остатки моста, построенного этим самым Цезарем, — он, говорят, в Риме правил и был Наполеону родственником, почему император и счел, что он в своем праве передать этот город в наследство сыну. И вот, значит, сыграли свадьбу, отпраздновали ее знатно, и он по такому по случаю освободил весь народ на десять лет от налогов, которые, впрочем, сборщики не перестали взыскивать сполна. Ну, стало быть, поженились, и принесла ему жена мальчишку — «римского короля»; дело неслыханное, кто же это рождается королем при живом отце. В тот день из Парижа в Рим полетел с вестью воздушный шар, и весь путь тот шар проделал за сутки. Вот так-то! Ну, станет ли кто теперь говорить, что все это спроста? Нет, это было предначертано свыше! И пусть язык отнимется у того, кто скажет, что Наполеон не был послан самим богом, дабы возвеличить Францию! И вот, значит, русский император, который был ему приятелем, рассердился, что он не взял в жены русскую, и стал поддерживать англичан — врагов наших. Наполеону-то все было недосуг пойти приструнить Англию. Пора

было кончать с этой самой заморской птицей. Наполеон разгневался и говорит нам:

— Солдаты, вы похозяйничали во всех европейских столицах, остается одна Москва, которая заключила союз с Англией. Так вот, чтобы завоевать Лондон с Индией в придачу, решил я пойти на Москву.

Собирается, значит, такая большая армия, какая еще по земле сапогом не ступала, всем на удивление выстроилась, да так, что в один прекрасный день на смотру прошел миллион человек.

— Ура! — кричат русские.

Да вот что — вся Россия и бестии казаки от нас ускользают. Страна схватилась со страной, все вверх дном перевернулось, надо бы Наполеону вовремя поостеречься.

Ведь Красный человек предупреждал: «Азия схватилась с Европой!» А он ему в ответ: «Полно тебе, приму меры предосторожности». И впрямь короли набежали, лижут руки Наполеону — Австрия, Пруссия, Бавария, Саксония, Польша, Италия, — все с нами, подлащиваются, красота, да и только! Никогда так не реяли наполеоновские знамена, как на этих парадах, и гордо так взвивались над европейскими флагами. Поляки

земли под собой не чуяли от радости, потому как император посулил поправить их дела; с давних пор Польша и Франция побратались. Словом, армия кричит: «Россия наша!» Выступаем, снаряжены хорошо; шагаем, шагаем — нет русских. Словом, только на реке Москве натыкаемся на этих хитрецов — стоят они там бивуаком. Тут-то я и получил орден, и уж могу сказать, что битва была лютая. Император сам не свой, он виделся с Красным человеком, и тот сказал ему:

— Сынок, смотри, зарвался ты, людей тебе не хватит, друзья предадут тебя.

Тут, значит, стал Наполеон мир предлагать. Ну, а прежде чем подписывать, говорит нам:

— Покажем русским!

— Ладно! — кричит армия.

— Вперед! — говорят сержанты.

Сапоги мои истрепались, одежда расползлась, столько нам уж пришлось исходить дорог, да не очень-то гладеньких! Что поделаешь! «Раз конец заварухе, надо вовсю постараться», — говорю, значит, себе. Стоим мы перед большущим оврагом — тут передовая. Сигнал — и семьсот пушек заводят такую беседу, что кровь из ушей у тебя вот-вот брызнет. Надобно к противнику быть справедливым — русские не отступали, на

смерть шли, как французы, и мы не продвигались ни на шаг.

— Вперед! — говорят нам. — Вот и сам император!

Так и есть, скачет во весь опор, подает нам знаки — очень, мол, важно взять редут. Воодушевляет нас, мы — бегом! Первым я добежал до оврага. Боже ты мой! Пошло тут косить лейтенантов, полковников, солдат! Ничего! Зато разутым достаются сапоги, а грамотеям-пролазам — эполеты. По всей передовой как прокатится крик: «Победа!» Да вот оказия — виданное ли это дело, двадцать пять тысяч французов вокруг полегло. Шутка сказать! Ты только подумай: сжатое поле, но вместо колосьев — люди! Мы сразу поостыли. Является император, обступаем его. Он, значит, нас приголубил, ведь он, когда хотел, до того бывал приветлив, что мы, даже замерзшие, голодные, как стая волков, все терпели. Тут голубчик наш сам награждает орденами, отдает честь убитым, а потом, значит, и говорит нам:

— На Москву!

— На Москву так на Москву! — говорит армия.

Берем Москву. Ну, а русские не долго думая подожгли свою столицу. Ярким огнем полыхал город целых два дня, все сгорело на два лье в

окружности. Большие здания рассыпались в прах. Расплавленное железо и свинец лились дождем. Страшное было дело! И уж вам-то я могу сказать — такой грозы над нами еще не собиралось. Император говорит:

— Ну, хватит, а то все мои солдаты здесь полягут.

Мы-то рады передохнуть да силенок поднабрать, потому что в самом деле совсем замучились. Сняли мы золотой крест, который на Кремле был, и каждому солдату досталась малая толика. Да на возвратном пути зима пришла на месяц раньше, а почему — болваны ученые так и не могли объяснить толком, вот нас и прихватил мороз. Нет больше армии, понятно? Нет больше генералов, нет даже сержантов! И началось, значит, царствие нищеты и голода, царствие, в котором все мы, что верно, то верно, были равны. У всех одна дума — поскорее бы увидеть Францию, никто не наклонялся подобрать ружье или деньги; каждый шел куда глаза глядят, ружье нес как придется, не до славы было. Да и погода стояла прескверная, императору не видать было своей звезды. Разладилось у него что-то с небом. Тошно бедняге было смотреть, как его орлы летят прочь от победы. Суров стал, да как же не стать

суровым! Вот и Березина. Да, други мои, честью заверить могу: с самого сотворения мира во веки веков не бывало, чтоб до того все смешалось — войска, повозки, артиллерия и чтоб сыпал такой снег и небо было такое хмурое. Схватишься, к примеру, за дуло ружья — обожжет, такое оно холодное. И тут-то армию вызволили понтонеры, твердо держались они на своем посту; и в лучшем виде показал себя наш Гондрен, один он в живых и остался из тех упрямцев, которые лезли в воду и наводили мосты, армия прошла по этим мостам и спаслась от русских, потому как они еще не потеряли решпекта перед великой армией по случаю ее прошлых побед.

И он добавил, указывая на Гондрена, смотревшего на него с вниманием, свойственным глухим:

— Гондрен — отменный солдат, можно сказать, почетный солдат и заслуживает от вас превеликого уважения.

Видел я, — продолжал он, — императора, когда он, не шевелясь, стоял возле моста, его и мороз не брал. Ну, разве и это спроста? Смотрел он, как гибнут его сокровища, друзья его, старые его египетские солдаты. А по мосту двигались маркитантки, повозки, артиллерия — все такое

истасканное, замызганное, разбитое. Кто посмелее, сохранил знамена, потому, видите ли, знамена — это сама Франция, это — ваш брат, это — честь гражданина и солдата, и надобно было, чтобы она осталась неприкосновенной, чтоб не сломилась от холода. Обогревались мы, обмороженные, только возле императора; когда ему-то грозила опасность, все мы сбегались к нему, а ведь не останавливались мы, чтобы выручить друзей. Говорят еще, ночами он плакал по горемычной своей солдатской семье. А все же лишь он да наш брат француз могли выбраться из такой беды, ну и выбрались, с потерями, правда, и большими потерями, что там толковать. Союзники сожрали наши припасы. Все стали императора предавать, как сказал ему Красный человек. Брехуны парижане помалкивали с той поры, как введена была императорская гвардия, а тут решили, что он конченый человек, и замыслили они заговор, втянули и префекта полиции, чтобы свергнуть императора. Проведал он об этих самых кознях, досадно ему стало, и говорит он нам, уезжая:

— Прощайте, ребята, охраняйте посты, вернусь скоро!

Ну и пошло — генералы порют чушь, без него-то

ведь все не то. Маршалы переругались и совсем завраались, оно и понятно: Наполеон был добряк, раскормил их, набаловал золотом, и они до того разжирели, что и ходить разучились. Вот откуда все беды и пошли: многие торчали с полками в тылу у неприятеля и не думали его тревожить, а нас неприятельские войска гнали во Францию. Но тут к нам воротился император с новобранцами, лихими ребятами, которых он перекроил на свой лад, — такие головорезы, что искромсают любого, — с почетным караулом из буржуа — отличное войско, да растаяло оно, будто масло на жаровне. Держимся твердо, а только все против нас, хотя армия чудеса творит. И значит, тут, в сражениях под Дрезденом, Лютценом, Бауценом, народ идет стеной на народ. Вы-то наверняка помните, ведь в ту пору француз показал себя таким героем, что хорошему гренадеру не доводилось и полгода протянуть. Мы побеждаем, а у нас за спиной англичане мутят другие народы, наговаривают им всякий вздор. Ну, наконец прорываемся сквозь эти скопища. Только появится император, и мы расчищаем себе путь, потому что стоило ему сказать на море ли, на суше ли: «Надо пройти!» — и мы проходили. В конце концов очутились мы во Франции, и самого за-

худалого пехотинца, несмотря на все передряги, взбодрил воздух отчизны. Я, например, про себя скажу — прямо на свет сызнова родился. Так-то вот. Но в ту пору дело шло о защите Франции, отечества — словом, прекрасной Франции — ото всей Европы, которая злобилась на нас за то, что попробовали мы покорить русских, отогнать за их же пределы, чтобы они нас не съели, уж такая привычка у Севера, лакомого до Юга, об этом я сам кое от кого из генералов слышал. Тут император видит: собственный его тесть, друзья, которых он посадил королями, и сброд, которому он престолы вернул, — все против него. Словом, даже французы и союзники по приказу свыше взяли и повернули из наших же рядов против нас, пример вам — сражение под Лейпцигом. На такие подлости простой солдат посовестился бы пойти, верно говорю? Те-то по три раза на день от своего слова отступались, а туда же, звались князьями! Тут началось вторжение. Только император покажет свой львиный лик — и неприятель отступает; в те поры, защищая Францию, он сотворил больше чудес, чем когда ходил завоевывать Италию, Восток, Испанию, Европу и Россию. Вздумал, значит, он истребить всех чужеземцев: пусть знают, как уважать Францию; подпустил их к самому

Парижу, чтобы разом прикончить и подняться на верхнюю ступень славы, выиграв битву поважнее всех других — словом, всем битвам битву! Но парижане испугались за свои грошовые шкуренки и лавчонки и открыли ворота; тут-то и пошло, значит, предательство, и настал конец счастью; императрицу начали притеснять и в окнах белые флаги повывешивали, а генералы-то, которых он к себе приблизил, покинули его ради Бурбонов, о которых прежде и не слыхали. Прощается он тут с нами в Фонтенебло:

— Солдаты!..

Как сейчас слышу его, мы плакали, точно малые дети; знамена с орлами были приспущены, будто на погребении, потому что, скажу вам прямо, мы хоронили Империю, от всех наших армий одна тень осталась. Тут, значит, он и говорит нам, с крыльца своего замка:

— Ребята, победили нас по милости предателей, но свидимся на небе — родине храбрецов. Защищайте моего сынка, доверяю его вам: да здравствует Наполеон Второй!..

Решил он умереть и, чтобы не видел никто побежденного Наполеона, выпил такую отраву, какая извела бы целый полк, да отрава его не берет; он тоже подумал, как Иисус Христос до того,

как страсти принять, что покинул его Бог, изменила удача. Зато теперь сам узнал, что бессмертен он и что дело его верное, что вечно императором будет, и уединился он на остров поразмыслить над делами тех людишек, что горазды глупости делать. Пока он там думы думал, китайцы да дикари с африканского берега, берберийцы и прочие, народ непокладистый, и то считали, что он не такой человек, как все люди, и не трогали его знамя, говорили, что прикоснуться к нему — значит рассориться с Богом. Те-то людишки его из Франции прогнали, а он владычествовал над всем миром. Садится он, значит, опять в свою египетскую скорлупку, проскочил под носом английских кораблей, вступил на французскую землю, а Франция признала его, весть птицей с колокольни на колокольню перелетает, вся страна кричит: «Да здравствует император!» И в здешних краях все с превеликим восторгом встретили это чудо из чудес; в Дофине не подкачали; я в особенности был доволен, узнав, что тут все плакали от радости, когда снова увидали его серый сюртук. Первого марта Наполеон высадился с двумя сотнями солдат, чтобы завоевать королевство французское и наваррское, а двадцатого марта оно опять превратилось во французскую

империю. В тот день Наполеон уже был в Париже; все смел по пути, взял обратно свою милую Францию, собрал старых воинов и сказал им всего лишь три словечка: «Вот и я!» Это было самое большое из Божьих чудес, — ну, кто бы еще мог захватить целую империю, только шляпой помахав? Все думали, что Франция повержена. Черта с два! Появился орел, возродилась Национальная армия, и мы зашагали в Ватерлоо. Тут-то гвардии сразу пришел конец. А Наполеон во главе с уцелевшими три раза очертя голову бросался на вражеские пушки, но нет ему смерти! Наш-то брат это видел! Так вот, битва проиграна. Вечером император созывает своих старых солдат в поле, залитом нашей кровью, сжигает знамена и древки с орлами; наши победоносные орлы прежде в битвах звали нас вперед, прежде летали над всей Европой, а ныне были избавлены от позора, не попали в руки врагу. Да ни за какие сокровища Англия не получила бы даже орлиного хвоста. Не стало орлов! Все прочее хорошо известно. Красный человек перешел на сторону Бурбонов, как есть он мерзавец! Франция сокрушена; солдат больше ни во что не ставили, лишили всего им причитающегося, домой погнали, а на их место набрали дворян, которые и маршировать-то не

умели, — смотреть на них было противно. Наполеона взяли изменой, англичане приковали его на пустынном острове, посреди океана, к утесу, а утес тот возвышается на десять тысяч футов над всем миром. И придется быть там Наполеону до тех пор, пока Красный человек не возвратит ему власть на благо Франции. Те-то говорят, что он умер! Да, как же, умер! Сразу видать, не знают они его. Врут, чтобы народ надуть, чтоб не взбунтовался народ в их поганом государстве. Слушайте же. На самом деле друзья оставили его одного в пустыне, чтоб сбылось пророчество о нем, я-то забыл вам объяснить, что Наполеон означает «Лев пустыни». Это уж верно, как Святое Писание. А если услышите что другое про императора, не верьте, все это одни враки. Разве простому смертному Бог дал бы право начертать красными буквами свое имя, как он написал свое на всей земле, которая всегда это помнить будет… Да здравствует Наполеон, отец народа и солдата!

— Да здравствует генерал Эбле! — крикнул понтонер.

— А как же вы-то уцелели в овраге у Москвы-реки? — спросила какая-то крестьянка.

— Почем я знаю! Вошли мы туда целым полком, а в живых осталось человек сто пехотинцев,

потому что только пехотинцам и было по плечу его взять. Видите ли, пехота — первое дело в армии…

— А кавалерия-то! — закричал Женеста и, спрыгнув с сеновала, появился в сарае так неожиданно, что даже самые храбрые ахнули от страха. — Эх, старина, что ж ты забыл о красных уланах Понятовского, о кирасирах, драгунах и прочих! Когда Наполеону не терпелось, чтобы сражение скорее завершилось победой, он говорил Мюрату: «Ваше величество, разруби-ка мне их пополам!» И мы шли рысью, а потом — вскачь. Раз, два! Неприятельская армия рассечена, будто яблоко ножом. Кавалерийская атака, старик, почище залпов картечи.

— А понтонеры-то! — закричал глухой.

— Так-то, ребята, — продолжал Женеста, заметивший, что люди онемели от изумления, и вконец смущенный своей вылазкой, — тут, верно, нет шпионов! Вот возьмите, выпейте за маленького капрала!

— Да здравствует император! — в один голос крикнули все, кто был на посиделках.

— Тише, ребята! — сказал офицер, силясь скрыть свою глубокую скорбь. — Тише! Он умер со словами: «Слава, Франция, сражение!» Ребята,

он-то умер, но память о нем не умрет!

Гогла недоверчиво пожал плечами и тихо сказал соседям:

— Офицер-то все еще на действительной службе, а таким приказ дан говорить всему свету, что император умер. Нечего на него пенять, ведь ежели солдату приказано, значит, надо повиноваться.

Выходя из сарая, Женеста услышал, как Могильщица сказала:

— Офицер этот — друг императору и господину Бенаси.

Все бросились к дверям, чтобы еще раз взглянуть на Женеста, и при свете луны увидели, как он берет доктора под руку.

— И натворил же я глупостей, — сказал Женеста, — пойдемте скорей домой! Я голову потерял от всех этих орлов, пушек, битв!..

— Ну, что вы скажете о моем Гогла? — спросил его Бенаси.

— Сударь, такие вот рассказы помогут Франции навсегда сохранить в недрах своих четырнадцать армий Республики и повести с Европой внушительный разговор пушечными залпами. Вот мое мнение.

Немного погодя они добрались до дома Бенаси,

и вскоре оба, задумавшись, сидели в гостиной у камина, в котором, догорая, тлели угли. Женеста по всему видел, что врач относится к нему с полным доверием, но как-то не решался спросить о том, что занимало его, боясь показаться нескромным; однако, бросив не один испытующий взгляд на Бенаси, офицер приметил на его губах обаятельную улыбку, свойственную людям поистине сильным духом, которой врач как будто поощрял гостя и давал согласие ответить. И Женеста сказал:

— Сударь, ваша жизнь так не похожа на жизнь людей заурядных, что нет ничего удивительного, если я спрошу о причинах, по которым вы удалились от мира. Быть может, вы сочтете мое любопытство неуместным, однако согласитесь, что оно вполне естественно. Послушайте, были у меня приятели, с которыми я никогда не говорил на «ты», даже побывав вместе в походах, но были и другие, которым я говорил: «Ступай за нашим жалованьем к казначею!» — дня через три после того, как мы вместе напивались, что иной раз случается и с самым порядочным человеком во время пирушки. Ну так вот — вы из тех людей, которого я избрал себе другом, не дожидаясь позволения и не зная толком, почему именно.

— Капитан Блюто…

Офицер невольно морщился, стоило врачу произнести его вымышленную фамилию. Увидев, как передернулось лицо гостя, Бенаси удивился и пристально посмотрел на него, стараясь объяснить себе, в чем тут дело, но ему трудно было отгадать истинную причину, и, приписав эту гримасу телесному недугу гостя, он продолжал:

— Капитан, мне мучительно говорить о себе. Уже не раз со вчерашнего дня я делал над собой усилие, рассказывая об улучшениях, которые мне удалось произвести здесь; но тогда речь шла о нашей общине и о ее жителях, интересы которых поневоле связаны с моими. Говорить же вам о себе значило бы занимать вас разговорами только о своей персоне, а в жизни моей нет ничего примечательного.

— Даже если б она была скучнее, чем жизнь Могильщицы, — ответил Женеста, — все-таки мне хотелось бы услышать о ней, узнать, какие же превратности судьбы закинули сюда человека вашего склада.

— Капитан, я молчал двенадцать лет. Ныне, когда я у края могилы, жду удара, которому суждено меня туда повергнуть, откровенно признаюсь вам, что молчание тяготит меня. Уже двенадцать

лет я стражду, и нет у меня того утешения, какое обретают в дружбе сердца, истомленные горем. Несчастные мои пациенты — крестьяне подают мне пример полнейшей покорности своей доле, но они видят мое сочувствие; а моих тайных слез никто не осушит, никто чистосердечно, по-дружески не пожмет мне руку, а это лучшая из наград — ею не обойден даже старик Гондрен.

Женеста порывисто протянул руку врачу, которого это глубоко растрогало.

— Быть может, Могильщица поняла бы меня своей ангельской душою, — продолжал врач взволнованным голосом, — но, быть может, она полюбила бы меня, а это было бы несчастьем. Послушайте, капитан, лишь такой человек, как вы, — закаленный в боях и снисходительный воин — или же восторженный юноша могут слушать мою исповедь, ибо понять ее способен лишь зрелый муж, который знает жизнь, или дитя, которому жизнь совсем еще неведома. В старину полководцы, умиравшие на поле битвы, исповедовались, когда не было священника, перед крестом на рукояти своего меча, избирая его верным посредником между собою и богом. И вы, стойкий наполеоновский рубака, несгибаемый и крепкий, как стальной клинок, пожалуй, пойме-

те меня. Рассказ мой будет для вас занимателен, если вы вникнете в сложный мир самых заветных чувств человека и с вниманием отнесетесь к тому, во что верят простые сердца, но что показалось бы смешным всем тем рассудительным особам, которые привыкли применять к своим личным обстоятельствам правила, предназначенные для государственных дел. Я расскажу вам все откровенно, ибо не намерен обходить ни то хорошее, ни то дурное, что было в моей жизни, и ничего не утаю от вас, потому что далек ныне от света, равнодушен к людскому суду и уповаю лишь на бога.

Врач умолк, затем встал со словами:

— Прежде чем начать, я велю приготовить чай. За двенадцать лет Жакота ни разу не забывала прийти с вопросом, буду ли я пить чай; она может нам помешать. А вы выпьете чаю, капитан?

— Благодарю вас, не хочется.

Бенаси быстро вернулся.

Глава IV
Исповедь сельского врача

— Родился я, — начал врач, — в небольшом городке Лангедока, где мой отец жил издавна; там протекало мое раннее детство. Восьми лет меня отдали в Сорезский коллеж, а закончив его, я отправился в Париж завершать свое образование. Отец мой в молодости был прожигателем жизни, он промотал родовое именье, но восстановил дела удачною женитьбой и мелочной бережливостью, как водится в провинции, где люди кичатся богатством, а не тратами, где тщеславие, свойственное человеку, угасает, не находя себе поощрения. Разбогатев, отец решил передать единственному сыну холодную мудрость, полученную им взамен утраченных надежд, — последнее и благородное заблуждение стариков, ибо все они тщетно пытаются свой добродетельный житейский опыт и свою благоразумную расчетливость оставить в наследство детям, которые упоены жизнью и спешат ею насладиться. Из предусмотрительности отец начертал особый план воспитания, жертвой которого я стал. Он старательно скрывал от меня,

как велико его состояние, и во имя моего блага обрек меня в расцвете лет на лишения и тревоги, нестерпимые для молодого человека, горящего желанием добиться независимости; он стремился внушить мне добродетели, необходимые в бедности: терпение, жажду образования и трудолюбие; он надеялся, что, познав цену богатства, я научусь бережливости, а как только я дорос до того, чтобы уразуметь его советы, он начал уговаривать меня поскорее избрать себе жизненное поприще. Склонности влекли меня к изучению медицины. Из Сореза, где я десять лет жил в уединении провинциального коллежа под гнетом полумонастырской дисциплины ораторианцев[12], я сразу попал в столицу. Отец сопровождал меня и поручил одному своему другу. Старики без моего ведома приняли самые тщательные меры предосторожности на случай, если меня, тогда еще совсем неопытного юнца, захватит вихрь бурных страстей. Деньги на мое содержание были строго рассчитаны сообразно насущным житейским нуждам, получать их мне полагалось раз в три месяца, и то если я представлял кви-

[12] Примечания: 12

«...под гнетом полумонастырской дисциплины ораторианцев...» — Ораторианцы — монашеский орден, руководил во Франции многочисленными коллежами, в которых обучалась молодежь.

танции о том, что внес плату на Медицинский факультет. Это поистине оскорбительное недоверие прикрывалось соображениями порядка и отчетности. Впрочем, отец не жалел денег на мое образование и на развлечения. Его старинный друг, очень довольный, что ему поручено руководить молодым человеком в лабиринте, куда я вступил, принадлежал к особой породе людей, у которых чувства с такою же аккуратностью разложены по полочкам, как и деловые бумаги. Стоило ему справиться в записной книжке, и он мог с точностью сказать, что делал в прошлом году в тот же месяц, день и час. Жизнь для него была предприятием, счета которого он вел по-коммерчески. А вообще-то этот достойный человек, хотя и не лишенный лукавства, осторожный и несколько недоверчивый, всяческими способами старался замаскировать свой строгий надзор за мной, покупал мне книги, оплачивал уроки; вздумается мне, например, научиться верховой езде, и добряк сам разузнает, где манеж получше, водит меня туда и, предугадывая мои желания, нанимает для меня лошадь на праздничные дни. Этот превосходный человек, невзирая на все его стариковские хитрости, которые я научился обходить, как только мне понадобилось, стал мне

вторым отцом. «Друг мой, — сказал он мне в ту минуту, когда догадался, что я порву поводок, если он немного не отпустит его, — молодые люди часто совершают безумства, на которые толкает их юношеская пылкость, и если вам понадобятся деньги, приходите ко мне. В свое время ваш отец охотно выручал меня, и к вашим услугам у меня всегда найдется несколько экю, но не лгите мне, признавайтесь, не стыдясь, в своих ошибках, ведь я тоже был молод, и мы всегда поймем друг друга как добрые приятели». Отец поместил меня в семейном пансионе Латинского квартала, содержащемся почтенными людьми; мне отвели прилично обставленную комнату. Однако первые шаги к самостоятельности, великодушие отца, жертва, которую, казалось, он принес мне, мало меня трогали. Быть может, надо насладиться свободой, чтобы понять, какая это ценность. Но воспоминания о привольном детстве почти изгладились под бременем уныния, царившего в коллеже и все еще угнетавшего мой ум; затем наставления отца указали мне на новые обязанности; и, наконец, сам Париж представлялся мне своего рода загадкой — не изучив его, не знаешь, где развлечься. Итак, ничто, — думал я, — не изменилось в моей жизни, не считая того,

что теперешнее мое училище чуть побольше и называется Медицинским факультетом. И все же на первых порах я ретиво взялся за учение, прилежно посещал лекции, с головой ушел в занятия и не помышлял об удовольствиях — до того сокровища науки, которыми богат Париж, пленили мое воображение. Но вскоре случайные знакомства, особенно опасные оттого, что они прикрываются приятельскими отношениями, прельщающими безрассудно доверчивую молодежь, незаметно вовлекли меня в круговорот рассеянной парижской жизни. Прежде всего на меня оказали развращающее влияние театры и актеры: я был от них без ума. Столичные спектакли пагубны для молодежи, она не в силах бороться с тем глубоким душевным смятением, какое театр вызывает у нее, поэтому-то общество и законы представляются мне соучастниками распутства юношей. Наше законодательство, так сказать, закрыло глаза на страсти, обуревающие молодого человека в двадцать — двадцать пять лет; в Париже его все ошеломляет, все беспрестанно искушает; религия проповедует ему добродетель, законы ее предписывают, а столичные соблазны и нравы влекут его ко злу; да разве в Париже самый порядочный мужчина и даже

самая благочестивая женщина не насмехаются над целомудрием? Словом, огромный город как будто поставил перед собой задачу поощрять одни лишь пороки, ибо препятствия, стоящие перед молодым человеком на пути к тому общественному положению, заняв которое, он мог бы честным образом добиться благосостояния, еще более многочисленны, нежели всякие разорительные приманки. Долгое время я каждый вечер ходил в театры и мало-помалу пристрастился к праздности. Я стал пренебрегать своими обязанностями, частенько откладывая на завтра самые спешные занятия; я больше не стремился к образованию, а выполнял только работы, совершенно необходимые, чтобы добиться степеней, без которых нельзя получить диплом доктора. На лекциях я уже не слушал профессоров, мне казалось, что все они твердят одно и то же. Я низвергал своих богов и уже превращался в парижанина. Словом, я вел сомнительный образ жизни, обычный для молодого провинциала, который, попав в столицу, еще хранит кое-какие искренние чувства, еще верит в кое-какие правила нравственности, но поддается дурным примерам, хоть и желает защититься от соблазнов. Я защищался плохо. Искусители были во мне самом. Да, сударь, мое

лицо не обманывает: многообразные страсти наложили на него отпечаток. И все же в глубине души у меня сохранилось стремление к нравственной чистоте, которое, несмотря на легкомысленный образ жизни, должно было в конце концов породить угрызения совести, отвращение к распутству и обратить к богу человека, в юности пившего из чистых родников религии. Разве тот, кто наслаждается земными утехами, рано или поздно не захочет вкусить от плодов небесных? Сколько раз я предавался восторгам, сколько раз предавался унынию, как это бывает в юности со всеми, только в разной степени; то я принимал ощущение молодой силы за твердую волю и заблуждался, преувеличивая свои способности; то я пугался малейшего препятствия, которое мне мерещилось, и падал гораздо ниже, чем свойственно было моей натуре; я строил широчайшие планы, мечтал о славе, намерен был трудиться, но первая же пирушка сметала все благие намерения. Как из тумана, вставали перед моим умственным взором неосуществленные высокие замыслы, и этот проблеск порождал во мне уверенность в себе, но не давал мне силы для созидания. Лень и самодовольство сделали меня глупцом, ибо глупец тот, кто не оправдывает

высокого мнения, составленного им о самом себе. В моей деятельности не было цели; я жаждал цветов жизни, но чуждался трудов, от которых они расцветают. Я не сталкивался с препятствиями, я считал, что все дается легко, и приписывал счастливой случайности успехи в науке и успехи в карьере. Гениальность мне представлялась шарлатанством. Я уже почитал себя ученым оттого, что мог им стать; я не помышлял ни о терпении, первоисточнике великих дел, ни о работе, в ходе которой и обнаруживается, как труден к ним путь, и лишь предвкушал будущую славу. Удовольствия были исчерпаны быстро: театром развлекаешься недолго. И вскоре Париж стал постылым и пустым для неимущего студента; круг знакомых моих состоял из старика, уже чуждавшегося светской жизни, и одного-единственного семейства, посещаемого прескучными людьми. Поэтому как всякий юнец, которому опротивела избранная карьера и у которого нет определенной цели, установившегося направления в мыслях, я день-деньской слонялся по улицам, по набережным, по музеям и общественным садам. Безделье в этом возрасте еще более тягостно, нежели во всяком ином, ибо в эту пору зря пропадает пыл юности, бесцельно расходу-

ется энергия. Я не понимал, какие возможности раскрывает крепкая воля перед юношей, когда он умеет хотеть и для осуществления желаний располагает всеми жизненными силами, утроенными бесстрашною уверенностью молодости. В детстве мы просты душою, нам неведомы опасности жизни; в юности мы начинаем постигать ее трудности и всю ее необъятность; при этом зрелище иной раз теряешь мужество; когда мы — новички на поприще общественной жизни, у нас ум заходит за разум, нами овладевает растерянность, словно мы очутились без помощи в чужой стране. В любом возрасте неизвестное невольно пугает. Юноша подобен тому солдату, который идет навстречу пушечным выстрелам и отступает перед призраками. И этот юноша не знает, каким правилам следовать; не умеет ни отдавать, ни принимать, ни защищаться, ни наступать; его влекут женщины, но он чтит их и робеет перед ними; его достоинства оборачиваются против него, он полон благородных чувств, он целомудрен, ему чужды корыстные расчеты, чужда скупость; если он лжет, то лишь ради красного словца, а не ради выгоды; совесть, с которою он еще не вступил в сделку, указывает ему верную дорогу среди путей сомнительных,

но он медлит и не идет по ней. Люди, которым суждено жить, повинуясь велению сердца, а не доводам разума, долго бывают в таком состоянии. То же случилось и со мною. Я стал игрушкой двух противоречивых побуждений. Меня терзали желания, обуревающие нас в молодости, и сдерживала юношеская сентиментальность. Лихорадочная жизнь Парижа убийственна для душ, наделенных живою впечатлительностью; блага, которыми там пользуются люди выдающиеся или люди богатые, разжигают страсти. В этом мире величия и низости зависть часто убивает, а не подхлестывает; в беспрерывной борьбе, которую ведут честолюбие, страсть и ненависть, неизбежно становишься или жертвою, или соучастником. Молодой человек постоянно видит, что порок благоденствует, а добродетель поругана, и это незаметно колеблет его нравственные устои; парижская жизнь, так сказать, быстро сдувает пушок детской невинности с его совести; тут-то начинается и довершается дьявольское дело его нравственного разложения. Чтобы получить от жизни те наслаждения, которые поначалу соблазнительнее всех остальных, надо преодолеть ряд опасностей, приходится обдумывать каждый шаг, взвешивать последствия. Все эти

рассуждения ведут к себялюбию. Стоит бедному студенту страстно влюбиться и забыть весь мир, как окружающие поспешат вселить в него своими советами такую недоверчивость, что он помимо воли насторожится и станет остерегаться своих великодушных намерений. В этой борьбе черствеет и мельчает душа, всем начинает верховодить рассудок, и это приводит к чисто парижской бесчувственности, к тем нравам, при которых под изящнейшим легкомыслием и наигранной восторженностью скрыты честолюбие и корысть. В Париже самая бесхитростная женщина даже в упоении счастьем не теряет голову. Все это, конечно, повлияло на мое поведение и на мои чувства. Ошибки, отравившие мне жизнь, у многих других не легли бы на сердце тяжелым бременем, но южане религиозны, верят в католические догматы и в загробный мир. От этих верований страсти делаются глубже, а угрызения совести надолго уносят покой.

В те времена, когда я изучал медицину, повсюду главенствовали военные; нужно было носить по крайней мере полковничьи эполеты, чтобы нравиться женщинам. Чем был для света бедный студент? Ничем. Живя в чаду пылких страстей, не находя им исхода, встречая денеж-

ные затруднения на каждом шагу, при каждой попытке осуществить свои желания; считая, что дорогой науки и славы нескоро придешь к вожделенным радостям; не зная, следовать ли внутреннему голосу целомудрия или дурным примерам, видя, как легко предаваться беспутству в злачных местах и как трудно попасть в порядочное общество, я влачил печальные дни, во власти темных страстей, томясь праздностью, которая мертвит душу, и унынием, то и дело сменявшимся порывистой восторженностью. Наконец эта смутная пора привела к развязке, такой обычной в жизни молодых людей. Мне всегда казалось, что подло нарушать чужое семейное счастье, к тому же я так непосредственно выражаю свои чувства, что совсем не умею лукавить; поэтому-то я просто физически не мог бы жить в постоянной лжи. Мимолетные радости меня не соблазняют, я хочу наслаждаться счастьем не спеша! Я неспособен был предаваться пороку, но я устал от одиночества после стольких бесплодных попыток проникнуть в высший свет, где, быть может, встретил бы женщину, которая заботливо предостерегала бы меня от всяческих ловушек, учила бы изысканным манерам, давала бы советы, не уязвляя моего самолюбия, и ввела

бы меня в те круги, где я завязал бы знакомства, полезные для моего будущего. Я совсем отчаялся, и меня, пожалуй, соблазнило бы в ту пору самое опасное любовное приключение, но мне не везло даже тут. Я по неопытности не мог найти исход своим кипучим страстям. Наконец, сударь, я завел связь, сначала тайную, с девушкой, благосклонности которой я упорно домогался, пока она не соединила свою судьбу с моей. Эта юная девушка из порядочной, но небогатой семьи бросила ради меня свой скромный дом и бесстрашно доверила мне свое будущее, чистосердечно веря, что оно будет прекрасным. Лучшим залогом казалось ей то, что я небогат. С этой минуты буря, волновавшая мое сердце, сумасбродства, честолюбие — все потонуло в счастье, в том счастье, которое захватывает молодого человека, не ведающего нравов света, ни принятых там правил приличия, ни силы предрассудков; в безоблачном счастье, какое бывает в детстве, ибо первая любовь — это второе детство, озаряющее наше существование, полное забот и труда. Есть люди, которые сразу постигают, что такое жизнь, выносят о ней правильное суждение, присматриваются к людским ошибкам, чтобы извлечь из них выгоду, к законам общества, чтобы обернуть

их себе на пользу, и которые знают всему цену. Принято считать, что эти холодные люди мудры. Но другие, бедные поэты, люди нервические, чувствуют слишком живо и зачастую оступаются; к их числу принадлежал и я. Впрочем, моя первая привязанность вначале не была настоящей любовью, я повиновался инстинкту, а не сердцу. Я принес бедную девушку себе в жертву, но находил немало доводов в свое оправдание, убеждая себя, что ничего дурного я не делаю. Она же была олицетворением преданности — ангельское сердце, светлый ум, прекрасная душа. Она всегда давала мне разумные советы. Сначала ее любовь укрепила во мне мужество, затем моя подруга ласково принудила меня вновь взяться за учение, веря в меня, предсказывая мне успех, славу, богатство. В наши дни медицина соприкасается со всеми науками, хотя врачу нелегко добиться славы, зато вознагражден он будет с лихвой. Слава в Париже всегда приносит богатство. Добрая моя подруга самоотверженно делила со мной все превратности жизни, и при ее бережливости, несмотря на скромные наши средства, мы могли себе позволить кое-какое баловство. У нас оказалось больше денег для удовлетворения моих прихотей, когда мы зажили вдвоем, нежели в те

дни, когда я жил один. Это была, сударь, самая чудесная пора моей жизни. Занимался я с жаром, у меня была цель, меня поощряли, я рассказывал о своих мыслях и делах женщине, которая внушила мне чувство любви и, главное, глубокого уважения своим благоразумием, проявляя его в тех условиях, когда, казалось бы, благоразумие невозможно. Все это так, сударь, но дни мои проходили однообразной чередой. Нет в мире ничего восхитительнее тихого, спокойного счастья, но, лишь испытав сердечные бури, научишься его ценить. Как сладостно не чувствовать жизненных тягот, обмениваться сокровенными мыслями и всегда быть понятым! Мне, человеку страстному, лелеявшему честолюбивые планы, человеку, которому надоело плестись за славой, ибо она идет слишком медленной поступью, — такое счастье вскоре приелось. Мной снова овладели прежние мечтания. Я жаждал насладиться всем, что дает богатство, и молил о нем во имя любви. Когда, бывало, по вечерам я впадал в угрюмую задумчивость, рисуя себе несбыточные картины роскошной жизни, ласковый голос окликал меня, и я откровенно признавался в своих грезах. Конечно, я терзал кроткую подругу, посвятившую себя моему счастью. Ведь больше всего ее удруча-

ло, что она не в силах выполнить мои прихоти. О, сударь, как велика женская самоотверженность!

В этом восклицании чувствовалась затаенная горечь, Бенаси на мгновенье задумался, офицер же не нарушал его молчания.

— Так вот, сударь, — продолжал доктор, — событие, которое должно было, казалось, упрочить наш союз, разрушило его и явилось первопричиною всех моих бед. Скончался мой отец, оставив мне крупное состояние; чтобы уладить дела по наследству, мне пришлось на несколько месяцев уехать в Лангедок; я отправился туда один. Я вновь обрел свободу. Любое обязательство, даже самое приятное, тягостно в молодости. Надобно накопить жизненный опыт, чтобы признать необходимость долга и труда. Меня, пылкого уроженца Лангедока, радовало, что я могу уйти из дома и возвратиться, когда мне вздумается, что даже добровольно я не отдаю никому отчета в своих поступках. Хотя я и не совсем забыл о тех узах, которыми связал себя, но все отвлекало меня от прошлого, и воспоминания незаметно рассеялись. Не без раздражения думал я о том, что придется связать себя снова, затем стал задаваться вопросом, нужно ли это. А тем временем я все получал и получал письма, проникнутые

искренней любовью, но ведь в двадцать два года человек воображает, что все женщины существа любящие; он еще не умеет отличать сердечную привязанность от страсти; он принимает за любовь все, что дает ему плотские радости, и в начале жизни ему кажется, что они-то и есть главное; лишь позже, лучше узнав жизнь и людей, я понял, сколько истинного благородства было в ее письмах, в которых она говорила о своей любви, но не о себе, радовалась за меня, что я разбогател, ничего не желала для себя и не помышляла даже, что я могу измениться, ибо чувствовала, что она сама измениться не в состоянии. Но я весь ушел в честолюбивые расчеты и собирался зажить по-богатому, занять положение в свете, вступить в блестящий брак. Я не прочь был холодно, по-фатовски сказать: «Однако и любит же она меня!» А сам уже ломал себе голову над тем, как бы отделаться от нее. Так вот ломаешь себе голову, стыдишься самого себя, доходишь до жестокости, наносишь своей жертве раны и, чтобы не краснеть перед ней, убиваешь ее. Когда я размышляю о тех днях печальных заблуждений, передо мною раскрываются многие бездны нашего сердца. Да, поверьте мне, сударь, лучше всех познают пороки и добродетели человеческой природы те

люди, которые хорошо изучили их на себе. Наша совесть — отправная точка. Мы всегда подходим к людям со своей меркой, не думая о том, с какой меркой люди подходят к нам. Я вернулся в Париж и поселился в особняке, который был снят для меня; я не предупредил ни о перемене в своих чувствах, ни о своем возвращении единственного человека, которого это близко касалось. Мне хотелось занять не последнее место среди блестящей светской молодежи. Первые дни прошли в упоении роскошью, и, когда я настолько пристрастился к беспечной жизни, что уже не боялся поддаться состраданию, я отправился навестить возлюбленную, намереваясь порвать с нею. С чуткостью, свойственной женщинам, она догадалась о моих затаенных намерениях, но сдержала слезы. Она должна была презирать меня, однако по своей кротости и доброте ни разу не выказала презрения. Снисходительность эта жестоко мучила меня. Мы, великосветские убийцы, как и убийцы с большой дороги, любим, чтобы наши жертвы защищались, — борьба, видите ли, служит оправданием нам, повинным в их смерти. Из жалости я возобновил было свои посещения; нежным я быть не мог, но прикидывался ласковым, затем постепенно стал просто

любезным; и, наконец, по какому-то молчаливому соглашению она позволила мне обращаться с нею, как с чужой, и я еще воображал, что поступаю порядочно. С настоящим неистовством закружился я в вихре светской жизни, чтобы заглушить слабые угрызения совести, которые еще давали о себе знать. Тот, кто не уважает себя, не может жить в одиночестве, и вот я стал вести рассеянный образ жизни, какой ведет в Париже золотая молодежь. Я получил недурное образование, обладал хорошей памятью, а потому казался умнее, нежели был на самом деле, и воображал, что я гораздо лучше остальных; подхалимам, которым выгодно было уверять меня в моем превосходстве над другими, не стоило труда убедить меня в этом. Все так быстро признали мое превосходство, что я и не видел надобности оправдать это мнение. Лесть — самая вероломная уловка света, в особенности в Париже, где интриганы всех мастей умудряются задушить талант с самого рождения, забросав венками его колыбель. Итак, я не воспользовался ни благоприятным о себе мнением, ни успехом, чтобы «выйти в люди», не завязал я и полезных знакомств. Я без устали предавался легкомысленным развлечениям. У меня были мимолетные интрижки — позор па-

рижских салонов. Каждый входит туда в поисках истинной любви, но в погоне за ней пресыщается, становится великосветским распутником и кончает тем, что удивляется подлинной страсти так же, как свет удивляется великодушному поступку. Подражая другим, я часто наносил еще не тронутым, чистым душам такие же удары, от которых втайне страдал сам. Хотя своим поведением я создал себе дурную репутацию, все же во мне уцелела порядочность, голосу которой я неизменно повиновался. Сколько раз меня обманывали при таких обстоятельствах, когда мне было стыдно даже заподозрить обман; я навлекал на себя презрение доверчивостью, которой в душе гордился. Свет склоняется лишь перед теми, кто достигает успеха, а как — ему не важно. По его мнению, конец венчает дело. И вот свет приписывал мне пороки, достоинства, победы и неудачи, о которых мне и не снилось; награждал меня любовными связями, о которых я и не ведал; порицал меня за поступки, к которым я был не причастен; из гордости я не считал нужным опровергать клеветнические слухи, а из тщеславия мирился с лестным для меня злословием. С виду я жил счастливо, а на самом деле прескверно. Если бы не беды, вскоре обрушившиеся на меня,

я бы постепенно растерял свои достоинства и зло восторжествовало бы во мне, ибо оно питалось непрерывною игрою страстей, излишествами, которые расслабляют тело и потворствуют пагубному себялюбию, подтачивающему силы души. Я разорился, и вот как это случилось. Как бы ни был богат человек, а в Париже он непременно встретит богача покрупнее, за которым хочет угнаться, а потом и перещеголять его. По примеру других вертопрахов я стал жертвой подобной борьбы, и спустя четыре года мне пришлось продать часть своей земли, а остальную заложить. Затем меня сразил ужасный удар. Около двух лет я не видел женщины, которую бросил, но я вел такой образ жизни, что беды мне было не миновать, и тогда я, конечно, вернулся бы к ней. Однажды вечером, в разгаре веселой пирушки, я получил записку, написанную неровным почерком, в ней говорилось приблизительно вот что: «Я скоро умру, друг мой, мне хотелось бы повидать вас, узнать, что ждет моего ребенка; спросить, признаете ли вы его своим сыном, и смягчить сожаления о моей смерти, которые, быть может, вами овладеют». Кровь заледенела у меня в жилах, когда я прочел это письмо, оно разбудило мои былые терзания, и в то же время в нем была скрыта тайна будуще-

го. Я отправился пешком, не дожидаясь кареты, пересек весь Париж, гонимый угрызениями совести, во власти первого порыва горя, которое углубилось, как только я увидел свою жертву. Опрятностью в доме бедняжка тщетно силилась скрыть нищету и тяготы жизни, в которых был повинен я; но она пощадила меня, с благородной сдержанностью говоря о своих лишениях, когда я торжественно обещал ей усыновить нашего ребенка. Она умерла, сударь, невзирая на все заботы, которыми я окружил ее, невзирая на все средства науки, тщетно призванной на помощь. Слишком поздно пришли эти мои заботы и ласка, они лишь смягчили ее предсмертные муки. Все эти годы она трудилась не покладая рук, чтобы воспитать, чтобы прокормить ребенка. Материнское чувство было ей поддержкой в житейских бедах, но ее подтачивало страшное горе — сознание, что она покинута. Много раз она готова была сделать первый шаг, но женская гордость останавливала ее; она плакала, однако не проклинала меня за то, что ни единой крупицы золота, лившегося потоками для удовлетворения моих прихотей, не подумал я уделить ей, чтобы облегчить ее жизнь и жизнь нашего ребенка. Тяжкие испытания представлялись ей возмезди-

ем за грех. Ее поддерживал добрый священник из собора Сен-Сюльпис, кроткий голос которого вернул ей душевный мир, она осушала слезы у подножия алтаря и там искала надежду. Горечь, по моей милости переполнявшая ее сердце, незаметно исчезла. Однажды она услышала, как сын произнес слово «папа» — слово, которому она не учила его, и бедняжка простила мне все то зло, какое я причинил ей. Но слезы, тоска и непосильная работа подточили ее здоровье. Религия слишком поздно даровала ей утешение и мужество в борьбе с невзгодами. Она заболела, ибо ее сердце не вынесло постоянной муки вечно воскресавших и вечно обманутых надежд на мое возвращение. И когда ей стало совсем худо, она, не думая упрекать меня, написала мне со смертного ложа записку, подсказанную религиозным чувством, а также верою в мою доброту. Она была убеждена и не раз говорила мне об этом, что я ослеплен, а не испорчен; она даже обвиняла себя, что напрасно поддалась своей женской гордости: «Ежели бы я написала раньше, — сказала она мне, — быть может, мы успели бы вступить в брак и узаконить нашего ребенка».

Только ради сына стремилась она к этим узам и не помышляла бы о них, если бы не чувствовала,

что смерть вскоре развяжет их. Но она опоздала, ибо жить ей осталось немного. Там-то, сударь, возле смертного одра этой женщины, я навсегда переменился, узнал, какое сокровище — преданное сердце. Я был в том возрасте, когда мужчина еще способен проливать слезы. Все недолгие дни, пока теплилась жизнь любимой, слова мои, поступки и слезы свидетельствовали об искреннем раскаянии, о глубоком горе. Слишком поздно оценил я эту избранную душу, которую боялся теперь утратить, поняв, как суетна жизнь света, как пусты и себялюбивы светские модницы. Я устал смотреть на маски, устал выслушивать лживые слова и тщетно призывал истинную любовь, о которой мечтал, живя в мире искусственных чувств; и вот теперь она была рядом, эта любовь, убитая мною, и я не мог сохранить ее, хотя она и принадлежала только мне. За четыре года я по-настоящему узнал самого себя. Моя натура, особенности моего душевного склада, религиозные чувства, не исчезнувшие, а скорее усыпленные, разум мой, мое непонятое сердце — словом, все с некоторых пор твердило мне, что пришла пора разрешить главный вопрос жизни, найти исход страстям в любви, в радости семейного очага, ибо только она является подлинной

радостью. Слишком долго метался я, не видя цели, ради пустой суеты, в погоне за наслаждениями, без любви, которая их возвышает, и поэтому картины жизни в семейном кругу живо трогали мою душу.

Итак, в моих взглядах произошел внезапный и все же коренной перелом. Я, беспечный южанин, испорченный жизнью в Париже, наверное, не подумал бы пожалеть об участи бедной, обманутой девушки и посмеялся бы над ее муками, если б о них рассказал какой-нибудь шутник в веселом обществе; у нас, французов, вовремя сказанное словцо может превратить преступление в фарс. Но перед этим небесным созданием, которое мне не в чем было упрекнуть, оказывались бессильными все ухищрения ума; здесь царила смерть, а сын улыбался мне, не ведая, что я убийца его матери. Женщина эта умерла, умерла счастливой, ибо увидела, что я люблю ее и что не жалостью и даже не кровными узами, соединившими нас, питается эта возродившаяся любовь. Мне не забыть ее предсмертных часов, когда вновь завоеванная любовь и удовлетворенное материнское чувство успокоили ее страдания. Изобилие, даже роскошь, которыми я окружил ее, смех ребенка, такого прелестного

в нарядных костюмчиках, были залогом счастливого будущего для этого крохотного существа, а в нем она видела продолжение своей жизни. Викарий из собора Сен-Сюльпис, свидетель моего отчаяния, углубил его, ибо не сказал мне ни одного пошлого слова утешения, но дал понять, как важны мои обязательства; правда, меня и не надо было понуждать — совесть говорила во мне достаточно громко. Женщина, полная благородства, доверилась мне, я же лгал ей, клялся в любви, а сам ей изменил, я был виновником всех несчастий, постигших бедняжку, которая должна была бы стать для меня святыней, ибо из-за меня она навлекла на себя презрение света; она умирала, все простив мне, забыв все свои горести и полагаясь на слово того, кто уже раз нарушил свое слово. Агата доверчиво отдала мне свою девичью душу, а теперь поверила в меня сердцем матери. А ребенок, сударь, ее ребенок! Одному богу известно, чем он для меня стал. Все в нем, как и у его матери, было восхитительно: движения, разговоры, чувства, но для меня он был не просто сыном. Я в нем видел свое искупление, свою восстановленную честь; сын был мне дорог, как всякому отцу, но я хотел заменить ему мать, и угрызения совести обратились бы в истинное

блаженство, если бы мне удалось сделать так, чтобы он не чувствовал отсутствия материнской ласки; меня связывали с ним все лучшие чувства, все упования религиозного человека. Сердце мое переполнялось такой нежностью, какую господь бог внушает матери. Я ликовал, заслышав голосок сына, я не мог наглядеться и нарадоваться на него, когда он спал, и часто слезы мои падали на его лоб. Я завел такой обычай: как только он, бывало, проснется, так сразу перебегает ко мне на кровать, прочесть у меня молитву. Как трогала мою душу простая и чистая молитва «Отче наш» в свежих и чистых устах моего сына и как терзала ее! Однажды утром он произнес: «Отец наш, сущий на небесах...», умолк и вдруг спросил: «А почему не мама?» Эти слова сразили меня. Я обожал своего сына, но по моей милости жизнь с первых же шагов сулила ему множество невзгод. Правда, законы принимают в расчет ошибки молодости и чуть ли не оказывают им покровительство, легализируя, хоть и неохотно, положение внебрачных детей; зато свет давними закоренелыми предрассудками поддерживает несговорчивость закона. К этой поре и относятся первые мои серьезные размышления об основе общества, о его движущих силах, о человеческом

долге, о тех нравственных понятиях, какими должны руководиться граждане. Гений сразу схватывает эту зависимость между человеческими чувствами и судьбами общества; религия внушает рассудительным людям принципы, необходимые для счастья, но лишь раскаяние внушает их пылкому человеку; я прозрел благодаря раскаянию. Я стал жить только сыном и ради сына, и это навело меня на размышления о важнейших общественных проблемах. Я решил заранее вооружить сына всем тем, что надобно для успеха в свете и что даст ему возможность достичь высокого положения. Так, например, чтобы научить его английскому, немецкому, итальянскому и испанскому языкам, я последовательно нанимал уроженцев этих стран, чтобы мальчик с ранних лет усвоил произношение. Я с радостью обнаружил в нем отличные способности, которые и позволили ему шутя обучаться всему. Я старался, чтобы ни одно ложное представление не проникло в его мысли, и, главное, стремился приохотить его с самого детства к умственному труду, привить ему способность быстро и правильно делать обобщения и терпеливо вникать в малейшие подробности, изучая тот или иной предмет; наконец, я приучил его молча перено-

сить страдания. Я не позволял, чтобы при нем произносились не только непристойные, а даже неблагозвучные слова. Я постарался, чтобы моего сына окружали люди, способные облагородить, возвысить его душу, внушить ему любовь к правде, отвращение ко лжи, воспитать в нем простоту и естественность речей, поступков и манер. Живость воображения позволяла ему сразу усваивать эти наглядные уроки, а умственная одаренность облегчала занятие науками. Как отрадно взращивать такое деревце! Сколько радости испытывают матери! Тогда-то я и понял, откуда черпала силы его мать, чтобы сносить все тяготы, все свое горе. Я поведал вам, сударь, о самом большом событии в моей жизни, а сейчас я подхожу к крушению всех моих надежд, забросившему меня в этот кантон. Я расскажу вам одну историю, ничем не примечательную, избитую, но оказавшуюся для меня роковой. Несколько лет я отдавал всю свою душу сыну, стремясь вырастить из него хорошего человека, и вдруг испугался одиночества; сын подрастал и, как водится, должен был меня покинуть. Любовь была для меня жизненным началом. Я искал любви и вечно обманывался в своем стремлении, но оно возрождалось с новою силой и крепло с годами.

Душа моя была готова отдаться истинной привязанности. После тяжкого испытания я постиг всю прелесть постоянства и блаженную радость, которую ощущаешь, принося себя в жертву, и во всем — в делах и помыслах — я бы отдал первое место своей избраннице. Мне доставляло удовольствие помечтать о том, что бывает на свете такая нерушимо верная любовь, когда счастье четы, связанной взаимным чувством, согревает жизнь обоих, сквозит в их взорах, в их речах и не допускает никаких недоразумений. Такая любовь для всей нашей жизни то же, что религиозное чувство для нашей души: она одухотворяет ее, направляет и озаряет. Теперь я понимал супружескую любовь иначе, чем понимает ее большинство мужчин, и находил, что вся ее возвышенная красота зиждется именно на том, что губит любовь во множестве браков. Я всей душой чувствовал нравственное величие жизни вдвоем, настолько слитой воедино, что даже самые низменные ее стороны не могут быть преградою для вечной любви. Но где встретишь такие сердца, которые бились бы с полною синхронностью — простите мне научное выражение — и достигли бы столь дивного единения. Если они и существуют, то природа или случай отбрасывают

их на такое далекое расстояние друг от друга, что им вовек не соединиться, они слишком поздно узнают друг друга или их слишком рано разлучает смерть. В этом роковом предопределении есть какой-то смысл, но я до него не доискивался. Слишком велико мое горе, чтобы вникать в него. Должно быть, полное счастье — такая редкость, что продолжение рода человеческого не может держаться на нем. Я мечтал о таком браке, но по иным причинам. Друзей у меня не было. Пустым казался мне свет. Есть во мне что-то, мешающее сладостному душевному единению. Иные хотели познакомиться со мной, но, познакомившись, уже не искали сближения, как я ни стремился к этому. Сколько было людей, ради которых я подавлял в себе то, что в свете называется чувством собственного превосходства, шел с ними в ногу, соглашался с их взглядами, смеялся, когда им было смешно, прощал изъяны их характера; если бы я добился славы, то променял бы ее на каплю дружеской привязанности. Эти люди отвернулись от меня без сожаления. Того, кто ищет в Париже настоящих чувств, ожидают одни ловушки и огорчения. Куда бы ни ступала моя нога, вокруг меня всюду была выжженная пустыня. Одни мою снисходительность почитали за слабость, но если

бы я повел себя как хищник, чувствующий, что он в силах захватить власть, я прослыл бы злым; и я просто забавлял других, тех, кто издевается над простодушным смехом; кстати, он исчезает к двадцати годам, а в зрелые годы мы его чуть ли не стыдимся. В наши дни свет скучает, но тем не менее требует серьезности даже в самых пустых разговорах. Ужасные времена, когда все склоняются перед воспитанным, холодным, заурядным человеком — все его презирают, но все ему повинуются! Позже я открыл причину этой вопиющей непоследовательности. Заурядность, сударь, удовлетворяет требованиям повседневной жизни, она — будничное одеяние общества; все, что не по плечу заурядным людям, представляется уже из ряда вон выходящим; дарование, самобытность — все это драгоценности, которые люди берегут и прячут, лишь иногда украшая себя ими. В Париже мне жилось одиноко, я не находил отрады в свете: он не дал мне ровно ничего, хотя я всем пожертвовал ему, сын не заполнял всецело мое сердце, ибо я был мужчиной; и вот в тот день, когда я почувствовал, что жизнь опостылела мне и что я сгибаюсь под бременем никому не ведомых мук, я встретил девушку, которая внушила мне любовь страстную, любовь, достой-

ную уважения и открытого признания, любовь, сулившую столько счастья, — словом, истинную любовь! Я снова завязал знакомство со старинным другом отца, который так обо мне заботился прежде; у него-то я и встретился с этой девушкой, и полюбил ее на всю жизнь. Сударь, чем старше делается человек, тем он яснее понимает, как велико влияние идей на события. Предрассудки, всеми уважаемые, порожденные высокими религиозными принципами, были причиной моего несчастья. Девушка принадлежала к семье до крайности набожных католиков, разделявших дух и воззрения секты, неправильно именуемой янсенистской, которая когда-то вызвала смуты во Франции, знаете ли вы почему?

— Нет, не знаю, — отвечала Женеста.

— Янсений, епископ города Ипра, написал книгу, в положениях которой были усмотрены противоречия с догматами папского престола. Позже стали считать, что в этой книге нет ничего еретического, а кое-кто отрицал даже существование самого учения. Незначительные разногласия раскололи галликанскую церковь надвое, на янсенистов и иезуитов. И к той и к другой стороне примкнули люди выдающегося ума. Между этими сильными сектами завязалась борьба.

Янсенисты обвиняли иезуитов в том, что все они потакают распущенности, и старались соблюдать безупречную чистоту нравов и религиозных устоев; таким образом, янсенисты во Франции были, так сказать, пуританами от католицизма, насколько сочетание этих слов возможно. Во времена французской революции, после конкордата[13], в церкви произошел небольшой раскол и возникло братство истинных католиков, которые не признавали епископов, утвержденных революционной властью с согласия папы. Эта паства образовала так называемую «Малую церковь», и ее приверженцы стали проповедовать, как и янсенисты, строжайшую нравственность, что является как бы непреложным законом существования всех запрещенных или гонимых сект. Многие янсенистские семьи принадлежали к «Малой церкви». Родители девушки стали последователями двух этих учений, которые ратуют за высокую нравственность и налагают и на характер и на внешность человека отпечаток особого достоинства, ибо свойство этих суровых уче-

[13] Примечания: 13

«Во времена французской революции, после конкордата...» — Речь идет о договоре 1801 г. между Наполеоном и папой римским, согласно которому папа признавался главой французской церкви и только епископы назначались главой государства.

ний — возвеличивать самые простые поступки, связывая их с будущей жизнью; отсюда проистекает прекрасная и пленительная чистота души, уважение к другим и к самому себе, доходящее до щепетильности отношение к правде и неправде, беспредельное милосердие, а также суровая и, надо сказать, неумолимая справедливость и, наконец, глубокое отвращение к порокам, особенно ко лжи, первопричине всякого зла. Право, не помню, знавал ли я более восхитительные минуты, чем те, когда я, в гостях у своего старого друга, впервые любовался девушкой, поистине целомудренной, скромной, воспитанной в послушании, которую украшали все добродетели, свойственные этой секте, при этом в ней не было ни малейшего высокомерия. Несмотря на строгие ее манеры, каждое движение ее гибкой, легкой фигурки пленяло женственностью. У нее был благородный овал лица, тонкие черты, по которым легко распознать девушку знатного происхождения; взгляд был гордый, но в то же время кроткий, выражение лица очень спокойное; она сама не знала, как украшали ее пышные волосы, скромно заплетенные в косы. Словом, капитан, она казалась мне совершенством, как это всегда бывает, когда мы влюбляемся; чтобы

полюбить, мы должны найти в женщине образец той красоты, который создан нами в мечтах и отвечает нашим вкусам. Когда я заговорил с ней, она ответила мне просто, без торопливости и без ложной стыдливости, не сознавая, как приятно слушать ее мелодичный голос, видеть ее личико. Чистых девушек роднят одни и те же приметы, по которым сразу распознаешь их ангельскую природу: нежный голос, кроткий взгляд, белоснежная кожа, что-то пленительное в движениях. Все в них чарует, все гармонически слито, но уловить, в чем же заключается очарование, немыслимо. Каждое их движение одухотворено. Я полюбил страстно. Любовь моя отвечала всем волновавшим меня стремлениям к славе, к богатству, всем моим мечтам. Красивая, богатая и хорошо воспитанная аристократка обладала теми преимуществами, каких свет требует от женщины, занимающей высокое положение в обществе, которого я жаждал добиться; она получила хорошее образование, была блестящей и остроумной собеседницей, а у нас, во Франции, женщины хоть и сыплют красивыми фразами, но они обычно пусты; ее же речи были полны мысли; во всем ею руководило чувство собственного достоинства, внушавшее почтение, — словом, о

лучшей супруге нельзя было и мечтать. Я умолкаю! Трудно дать портрет любимой женщины; между нею и нами с первого же мгновенья возникают тайны, ускользающие от анализа. Вскоре я признался в своем чувстве старому другу, и он ввел меня в ее семью; меня приняли из уважения к нему. Правда, сначала ко мне отнеслись с холодной вежливостью, свойственной цельным натурам, которые не сразу дарят свою дружбу, но зато умеют хранить ее до конца дней; позже меня стали принимать радушно. Правда, я и заслужил такое отношение. Хотя я был пламенно влюблен, я старался держаться с ее родителями так, чтобы не уронить себя в собственных глазах; я не низкопоклонничал, не льстил тем, от кого зависела моя участь, был самим собою и прежде всего был человеком. Когда в семье меня узнали поближе, мой старый друг, мечтавший не меньше, чем я, чтобы скорее пришел конец моей унылой холостяцкой жизни, спросил родителей девушки, могу ли я надеяться, и получил благосклонный ответ; но разговор велся с теми недомолвками, от которых почти никогда не отрешаются светские люди, а старику хотелось, чтобы я вступил в «выгодный брак» — выражение, превращающее это торжественное событие

в торговую сделку, когда один из супругов старается обмануть другого. Мой друг промолчал о том, что он называл ошибкой молодости. Он считал, что существование незаконного ребенка покажется почтенному семейству настолько безнравственным, что все остальное, даже вопрос о моем состоянии, отступит на второй план и что это неизбежно вызовет разрыв. Он был прав. «Это недоразумение, — говорил он, — вы сами превосходно уладите со своей женой, она охотно даст вам отпущение грехов». Каких только доводов, внушенных житейской мудростью, он ни приводил, чтобы заглушить мои сомнения. Признаюсь вам, сударь, что, невзирая на данное ему обещание, первым моим побуждением было чистосердечно рассказать все главе семейства, но строгая нравственность его заставила меня призадуматься, и я убоялся последствий; я трусливо вошел в сделку с совестью, я решил подождать, убедиться, что моя нареченная отвечает мне полной взаимностью, чтобы ужасное признание не погубило моего счастья. Итак, я намеревался открыть ей душу в подходящую минуту, и это решение послужило оправданием обычной светской уловки, к которой прибегнул предусмотрительный старик. Я был принят ро-

дителями девушки, без ведома друзей дома, как ее жених. Крайняя сдержанность — вот отличительная черта таких благочестивых семей; там обходят молчанием все, даже самые невинные вещи. Вы не поверите, сударь, какую глубину придает чувствам эта сдержанность, степенность в самых незначительных поступках. Все там делалось с пользою: женщины на досуге шили белье для бедных, там нельзя было услышать легкомысленной болтовни, но смех отнюдь не был изгнан, шутки же отличались простосердечием и никого не уязвляли. Разговоры этих убежденных янсенистов сначала казались мне какими-то странными: не было в них той остроты, которую придают светской болтовне злословие и скабрезные историйки; газеты читались отцом и дядей моей невесты, она же и не заглядывала в газетные листки, ибо любые из них, пусть даже самые безобидные, повествуют о преступлениях и общественных пороках; но позже, привыкнув к атмосфере, исполненной чистоты, я всей душой наслаждался тем, что чарует нас в гамме мягких тонов: тихой и столь успокоительной умиротворенностью.

Жизнь этой семьи с виду казалась однообразной до ужаса. В убранстве комнат было что-то

леденящее: ни разу не видел я, чтобы даже стул сдвигали с места, и нигде не было ни пылинки. И все же в такую жизнь втягиваешься. Я, человек, привыкший к смене удовольствий, к роскоши, к оживлению светских гостиных, мало-помалу преодолел скуку и познал преимущества такого существования: оно дает возможность мыслить последовательно, создает почву для созерцательности; при такой жизни владычествуют побуждения сердца, ничто не отвлекает его, и в конце концов видишь, что духовный мир становится необъятным, как море. В этой однообразной обстановке мысль, как в уединенной обители, отрешается от мирской суеты и уносится в бесконечный мир чувств. Для человека, искренне увлеченного, каким был тогда я, тишина, простой, почти монастырский уклад жизни, с повторением одних и тех же занятий в одни и те же часы, способствуют силе любви. Среди такого глубокого, невозмутимого покоя особенное значение приобретает каждое движение, слово, жест. Улыбкой, взглядом, бесхитростно выражающими чувства, сердце подает родному сердцу весть о своих радостях, о своих горестях. И я понял в те дни, что человеческому языку со всем его словесным великолепием не дано ни того богатства, ни

той выразительности, какими обладают улыбка и взгляд. Сколько раз пытался я говорить глазами, движением губ, когда нельзя было признаться в своей великой любви кроткой девушке, которая сидела рядом со мною и еще не ведала, отчего я стал постоянным гостем в доме, ибо родители решили предоставить ей свободу выбора в важнейшем событии ее жизни. Но когда мы любим по-настоящему, одно присутствие избранницы умиротворяет самые бурные желания, а когда нам разрешено быть с нею, мы испытываем блаженство, подобно верующему, представшему перед всевышним. Видеть — значит тогда поклоняться. Если для меня было особенно мучительно, что мне нельзя открыть свою душу, если я и вынужден был таить пылкое признание, которым тщетно пытаешься выразить глубокие чувства, то благодаря этой сдержанности, наложившей оковы на мою страсть, любовь еще ярче проявлялась в мелочах, и порою бесценными становились самые незначительные происшествия. Часами, любуясь, смотреть на нее, ждать ответа и подолгу наслаждаться переливами ее голоса, стараясь проникнуть в ее самые сокровенные помыслы; следить, не дрожат ли ее пальцы, когда подаешь ей вещь, которую она искала;

придумывать предлоги, чтобы прикоснуться к ее платью, к ее волосам, чтобы взять ее за руку, чтобы заставить ее выразить больше, нежели она хочет, — все эти пустяки стали для меня значительными событиями. Когда бываешь в таком восторженном состоянии, милый взгляд, движение, голос дарят душе непостижимые свидетельства любви. Только на таком языке изъяснялась любовь моя, только такой язык допускала холодная и целомудренная сдержанность девушки, ибо ее поведение не менялось: ко мне она относилась, как сестра; но чем сильнее разгоралась моя страсть, тем отчетливее я видел, как отличны мои речи от ее речей, мои взгляды от ее взглядов, и в конце концов я понял, что только робким молчанием такая девушка и может выразить свои чувства. Ведь, приходя к ним, я всегда заставал ее в гостиной. Ведь она сидела там все время, пока я был у них, она ждала моего посещения, предчувствовала его. Это молчаливое постоянство выдавало тайну ее невинной души. И, наконец, она внимала моим словам с радостью и не могла ее утаить. Наше застенчивое, робкое чувство, вероятно, было замечено родителями, они увидели, что я почти так же робок, как их дочь, и стали теперь относиться ко мне

благосклонно, сочтя меня человеком достойным уважения. Они доверились моему старому другу, сказали обо мне много лестного и принимали меня, как родного сына; особенно их подкупала моя душевная чистота. И в самом деле, в те дни я будто вновь стал юным. В этой благочестивой и нравственной среде тридцатидвухлетний мужчина снова превратился в восторженного юношу. Лето миновало, дела задержали моих друзей долее обыкновенного в Париже; но вот в сентябре они собрались ехать в свое поместье, в Овернь, и глава семейства пригласил меня погостить месяца два у них в старинном замке, затерявшемся среди Кантальских гор. Я не сразу ответил на это радушное приглашение. И я был вознагражден: пока я колебался, на лице моей нареченной появилось самое пленительное, самое чарующее выражение, какое только может появиться помимо воли на лице скромной девушки, выдавая ее сердечные тайны. Эвелина… Боже! — воскликнул Бенаси и, задумавшись, умолк.

— Простите, капитан Блюто, — продолжал он после долгого молчания. — Впервые за двенадцать лет я произношу ее имя, хотя оно вечно витает в моих мыслях и его часто шепчет мне чей-то голос во сне. И вот Эвелина, раз я уж назвал

ее имя, вскинула голову порывистым и быстрым движением, не похожим на ее обычные плавные жесты, посмотрела на меня не высокомерно, а с горестной тревогою, вспыхнула и потупилась. Потом она медленно подняла голову, и это доставило мне неизъяснимую, не изведанную еще радость. Я ответил запинаясь, прерывающимся голосом. Мое душевное волнение нашло в ней живой отклик, и ее глаза, полные слез, нежно поблагодарили меня. Этим было все сказано. Я поехал со всей семьей в поместье. С того дня, когда мы сердцем поняли друг друга, все вокруг нас словно обновилось; мы уже не были равнодушными зрителями. Истинная любовь всегда одинакова, но наша личность налагает на нее свой отпечаток, поэтому-то она и похожа и не похожа в каждом человеке, ищущем исход своим чувствам во всеобъемлющей страсти. Только философ и поэт могут до конца постичь это глубокое, но опошленное определение любви: эгоизм вдвоем. Мы любим себя в другом. Но если любовь и выражается так различно, что чете влюбленных не найти второй подобной с самого сотворения мира, зато в излиянии чувств все следуют одному образцу. Девушки, даже самые благочестивые и чистые, твердят одни и те же слова и отличают-

ся друг от друга лишь своеобразной прелестью духовного мира. Но если другим девушкам представлялось, что вполне естественно сделать невинное признание, то для Эвелины это было невольной уступкой смятенным чувствам, взявшим верх над привычным спокойствием ее юной набожной души; и каждый взгляд, брошенный украдкою, казалось ей, был насильственно вырван у нее любовью. Постоянная борьба между влечением сердца и внушенными ей правилами придавала ее жизни, бедной событиями и такой безмятежной с виду, но полной сильных чувств, глубину, недосягаемую для сумасбродных девиц, испорченных великосветскими нравами. В пути Эвелина восхваляла красоты природы. Когда нам нельзя говорить о том, какое блаженство мы испытываем вблизи любимого существа, то мы изливаем восторг, переполняющий наше сердце, на окружающие предметы, и наше затаенное чувство наделяет их несказанным очарованием. Поэтичные виды, проплывавшие перед нашими глазами, служили Эвелине и мне посредниками: в свои слова мы вкладывали тайный смысл. Мать Эвелины с чисто женским лукавством то и дело приводила дочку в замешательство. «Двадцать раз ты проезжала по этой долине, милая моя

девочка, и никогда не восхищалась ею!» — обронила она после какой-то чересчур восторженной фразы Эвелины. «Очевидно, матушка, я была слишком мала и не понимала, как все это красиво». Простите, капитан, что я рассказываю о таких пустяках, для вас они не имеют никакого значения, мне же этот простодушный ответ принес непередаваемую радость, а еще большую радость доставил ее взгляд, обращенный ко мне. То мы любовались деревушкой, озаренной восходящим солнцем, то развалинами, увитыми плющом, и вместе с картинами природы еще крепче запечатлевались в наших душах сладостные чувства, от которых зависело для нас все будущее. Мы приехали в их родовой замок, и я прогостил там месяц с лишним. Это была единственная пора моей жизни, сударь, когда небо ниспослало мне полное счастье. Я насладился радостями, неведомыми горожанам. Для четы влюбленных такое блаженство жить под одной кровлей, как бы предвосхищая супружество, вместе бродить по полям, улучить минутку, чтобы посидеть вдвоем под деревом в тихом уголке уютной лощины, смотреть на ветхую мельницу, ловить слова признания; должно быть, и вам знакомы эти ласковые речи, которые с каждым днем все более

сближают любящие сердца. Да, сударь, жизнь на приволье, красота природы так хорошо сочетаются с возвышенными восторгами души. Улыбаться друг другу, любуясь небесами, сливать безыскусные речи с пением птиц, сидя под деревьями, окропленными росою, возвращаться не спеша, прислушиваясь к звону колокола, чересчур рано зовущего домой, восхищаться прелестным видом, следить за прихотливыми движениями какого-нибудь жучка, рассматривать крошечную золотистую мушку на ладони любящей непорочной девушки — это значит с каждым днем все выше возноситься к небесам. Столько воспоминаний связано у меня с этими счастливыми днями, что они могли бы скрасить всю мою жизнь, воспоминаний разнообразных, особенно дорогих мне, потому что позднее меня уже никто не понимал. Сегодня несколько картин, казалось бы таких обыденных, но для разбитого сердца полных горького смысла, напомнили мне ушедшую и незабвенную любовь. Не знаю, приметили ли вы, как ярко заходящее солнце осветило хижину маленького Жака? Последние лучи на миг озарили весь пейзаж, и сразу же он померк и потемнел. В двух этих картинах, столь не похожих друг на друга, как бы отразилась та пора моей жизни.

Сударь, моя избранница подарила мне то первое и единственное чудесное признание в любви, которое дозволено невинной девушке, и чем оно пугливее и мимолетнее, тем к большему обязывает: сладостный залог любви, воспоминание о райском блаженстве. Уверившись в ее любви, я дал себе клятву, что во всем признаюсь ей, ничего не утаю; мне было стыдно, что я медлил и до сих пор не рассказал ей о своих горестях, виновником которых был я сам. К несчастью, наутро после того дивного дня пришло письмо от наставника сына и наполнило меня тревогой за жизнь моего мальчика. Я уехал, так и не открыв своей тайны Эвелине, а, прощаясь с ее родителями, сослался на неотложное дело. Без меня они забили тревогу. У них явилось опасение, нет ли у меня любовной связи, и они написали в Париж, чтобы навести справки. Тут они изменили своим религиозным устоям: заподозрив меня, даже не дали мне возможности рассеять их сомнения; некий друг сообщил им, потихоньку от меня, о том, как я провел молодость, во зло мне истолковал все мои поступки, заявил, что у меня есть сын, о существовании которого я умолчал намеренно. Я написал своим будущим родственникам, но ответа не получил; они вернулись в Париж, я отправился

к ним, но меня не приняли. Меня охватил страх, я попросил старого своего друга выведать у них, отчего они так изменились ко мне, ибо никак не мог понять, что же случилось. Узнав о причине, старик поступил благородно и самоотверженно: он взял на себя вину за мое преступное молчание, попытался оправдать меня, но ничего не добился. Все в семье Эвелины зиждилось на материальном расчете и правилах нравственности, ее родители так закоснели в предрассудках, что ни за какие блага не изменили бы своего решения. Мое отчаяние было безгранично. Я попытался было отвратить грозу, но письма возвращались ко мне нераспечатанными. Когда я сделал все возможное, когда отец и мать Эвелины сказали старику, навлекшему на меня такое горе, что они никогда не выдадут дочь замуж за человека, виновного в смерти своей возлюбленной, за отца незаконнорожденного ребенка, даже если бы Эвелина умоляла их на коленях, у меня осталась последняя надежда, за которую я ухватился, как утопающий за соломинку. Я вообразил, что любовь Эвелины будет сильнее родительского запрета и победит непреклонную волю родителей; может быть, отец умолчал о причине, которая вызвала его отказ и убила нашу любовь; я хотел,

чтобы Эвелина узнала обо всем и сама решила мою участь. Я написал ей. В слезах и тоске, терзаясь мучительными сомнениями, писал я это единственное любовное послание в своей жизни. Все было напрасно. Смутно помню сейчас слова, подсказанные мне отчаянием; разумеется, я говорил Эвелине, что ежели она была искренна и правдива, то не может, не должна любить никого, кроме меня: жизнь ее неизбежно будет неудачной, ибо ей придется лгать и своему будущему супругу, и мне. Я говорил, что она поступится женскими добродетелями, отказав возлюбленному, отвергнутому ее семьей, в той беззаветной преданности, которую питала бы к нему, если бы союз, уже заключенный в наших сердцах, был освящен законом. Ведь для женщины обеты сердца всегда важнее цепей закона. Оправдываясь в своей вине, я взывал к ее непорочной чистоте, не упустив ничего, чем можно было тронуть ее благородное и великодушное сердце. И раз уж я во всем открылся вам, то сейчас я принесу ее ответ и мое последнее письмо, — сказал Бенаси и вышел, направляясь в свою комнату.

Он вернулся очень быстро с потертым бумажником, из которого, волнуясь, дрожащей рукой вынул беспорядочно связанную пачку писем.

— Вот роковое письмо, — промолвил он. — Девушка, набросавшая эти строки, не знала, чем станут для меня листки, на которых запечатлены ее мысли… А вот последний стон моей исстрадавшейся души, — продолжал он, указывая на другое письмо, — о нем вы будете судить сами. Старый друг отнес мое письмо, полное мольбы, тайком передал его, униженно, невзирая на свои седины, просил Эвелину прочесть, ответить, и вот что она написала мне: «Сударь…» Прежде она называла меня своим «милым», выражая этим целомудренным словом свою целомудренную любовь, теперь же она именовала меня «сударь». Значит, все было кончено. Но слушайте:

> «Горько узнать девушке, что человек, которому она надеялась вверить свою жизнь, двуличен; и все же мой долг – простить вас, ведь мы так слабы духом! Ваше письмо меня тронуло, но больше не пишите: даже почерк ваш вызывает во мне невыносимое душевное смятение. Мы разлучены навеки. Объяснения, которые вы мне дали, смягчили меня, заглушили нехорошее чувство, поднявшееся в моей душе против вас, мне так

хотелось поверить в вашу чистоту! Но ни вам, ни мне не переубедить моего отца. Да, сударь, я осмелилась встать на вашу защиту, молила родителей, превозмогая страх, подобного которому мне еще не доводилось испытывать, я отступила от всех своих жизненных правил. Сейчас я снова сдаюсь на ваши просьбы и совершаю преступление, отвечая вам без ведома отца; но матушка знает об этом; снисходительность ее, позволившая мне еще раз поговорить с вами, доказала мне, как она любит меня, и укрепила во мне покорность родительской воле, от которой я чуть было не отрешилась. Итак, сударь, я пишу вам в первый и последний раз. От чистого сердца прощаю вам все то горе, которое вы мне причинили. Да, вы правы – первая любовь не умирает. Я уже не прежняя безгрешная девушка, не могу я быть и добродетельной супругой. Не знаю, какая участь ждет меня. Как видите, сударь, год, наполненный мыслями о вас, набросит тень на мое будущее; но я не обвиняю вас… Вы говорите, что всегда будете любить меня! К чему эти сло-

ва? Разве они принесут умиротворение взволнованной душе бедной, одинокой девушки? Ведь вы омрачили всю мою жизнь хотя бы тем, что я всегда буду вспоминать вас. Если мне суждено стать христовой невестой, не знаю, примет ли господь мое истерзанное сердце. Но ведь он не напрасно ниспослал мне печаль, у него свои предначертания, он, конечно, хотел призвать меня к себе – ныне он мое единственное прибежище. Сударь, этот мир пуст для меня. Вы можете забыться в честолюбивых стремлениях, свойственных мужчинам. Я не упрекаю вас, вам это будет утешением; женщины обычно находят его в вере. Мы оба несем сейчас мучительное бремя, но моя ноша тяжелее. Тот, на кого я уповаю и к кому, разумеется, нельзя меня ревновать, связал наши жизни, он и развяжет их по своему усмотрению. Я замечала, что ваши религиозные убеждения не зиждутся на той живой и чистой вере, которая помогает нам переносить невзгоды в земной юдоли. Сударь, ежели господь услышит мою горячую молитву, он выведет вас

на стезю истины. Я посылаю последнее прости человеку, который должен был вести меня по жизненному пути, кого я называла своим «милым», не совершая этим греха, и за кого и сейчас еще я могу молиться без стыда. Господь волен в жизни и смерти, быть может, он призовет вас к себе раньше меня, так вот, если я останусь в этом мире без вас, то поручите мне вашего мальчика».

— Эти строки, полные великодушных чувств, убили во мне все надежды, — продолжал Бенаси. — Сначала я прислушивался лишь к своему горю; только позже я понял, что милая девушка, забывая о себе, еще пыталась пролить целительный бальзам на раны моей души; но тут в порыве отчаяния я написал ей довольно резкое письмо:

«Сударыня, прочтя это слово, вы поймете, что я готов отказаться от вас, покориться вашей воле. Мучительную усладу доставляет мужчине покорность любимой женщине, даже если она велит ему оставить ее. Вы правы – я сам выношу себе приговор. Некогда я отверг любовь бедной девушки, теперь да будет отверг-

нута моя страстная любовь. Но не думал я, что моя избранница, которую я полюбил всей душой, возьмет на себя роль мстительницы. Никогда не подозревал я, что столько жестокости или, если угодно, суровой добродетели таится в вашем сердце – оно казалось мне таким нежным и любящим. Сейчас я увидел, как необъятна моя любовь, ибо она не погибла от самого страшного испытания – от вашего презрения, которое побудило вас без жалости разорвать узы, соединявшие нас. Прощайте навеки. В смиренной гордости раскаяния я буду искать пути, чтобы искупить грех, к которому вы, моя заступница перед небом, оказались безжалостны. Быть может, бог будет не так жесток. Я страдаю, страдаю, думая о вас, и да будет это карою для моего израненного сердца, оно никогда не перестанет кровоточить в одиночестве, ибо сердцам разбитым – мрак и тишина. Я больше никого не полюблю, ничей образ не запечатлеется в моей душе. Я не женщина, но, как и вы, понял, что, сказав – люблю тебя! – я взял на себя обязательство

на всю жизнь. Да, слова эти, которые я шепнул на ухо моей избраннице, не были ложью; если бы я изменился, вы были бы вправе презирать меня; итак, вы навеки будете кумиром моей одинокой жизни. Раскаяние и любовь – вот две добродетели, которые должны быть источниками всех остальных; и, невзирая на пропасть, разделяющую нас, вы всегда будете вдохновительницей всех моих добрых поступков. Вы наполнили сердце мое горечью, но в моих помыслах о вас горечи никогда не будет. Нельзя вступать на новый путь, не очистив душу от дурного осадка, правда ведь? Я шлю последнее прости единственному в этом мире сердцу, которое мне дорого и откуда я изгнан. Никогда еще в последнем прости не заключалось столько чувства, столько любви, оно уносит с собою мою душу, мою жизнь, и никому больше не воскресить их… Прощайте! Вам в удел – умиротворение, а мне – одни страдания».

Когда оба письма были прочитаны, Женеста и Бенаси молча посмотрели друг на друга, полные

грустных размышлений, которыми они не стали делиться друг с другом.

— Я отправил письмо, сохранив черновик, и ныне он олицетворяет для меня все мое утраченное счастье. Меня охватила смертная тоска, — продолжал Бенаси, — все то, что в нашем мире привязывает человека к жизни, воплотилось в чистой надежде на счастье, и она была утеряна мною, навеки. Пришлось проститься с радостями супружеской любви, обречь на умирание благородные мечты, расцветавшие в моем сердце. Обеты раскаявшейся души, которая так стремилась к красоте, добру и чистой жизни, были отвергнуты людьми глубоко религиозными. Сударь, мне на ум приходили самые невероятные решения, но, по счастью, любовь к сыну поборола все. Я почувствовал, как растет моя привязанность к нему, окрепнув во всех бедах, невольной причиной которых он был, но винить в них мне надобно было лишь самого себя. И вот сын стал моим единственным утешением. Мне было тридцать четыре года, я еще мог надеяться, что принесу пользу своей стране, я решил прославиться, чтобы почести, оказываемые мне, или влияние, завоеванное мною, загладили ошибку, наложившую пятно на жизнь моего сына.

Какими прекрасными побуждениями я обязан ему: ведь я жил только в те дни, когда думал о его будущем. Как мне тяжело! — воскликнул Бенаси. — Прошло одиннадцать лет, а я не могу вспомнить о том злосчастном годе… Сударь, я потерял сына.

Бенаси умолк, закрыл лицо руками и, только немного успокоившись, опустил их. Женеста с волнением увидел, что в глазах врача стоят слезы.

— Горе сразило меня, — продолжал Бенаси. — Я начал мыслить разумно и здраво лишь после того, как ушел от мирской суеты совсем в иную жизнь. Только тогда я увидел, что все беды ниспосланы мне всевышним, и научился смиряться, внимая его голосу. Смирению я научился не сразу, мой пылкий нрав дал себя знать; последние вспышки внутреннего огня померкли в последней грозе, я принимал много неверных решений, прежде чем остановился на единственном, подобающем католику. Я хотел покончить с собой. Я впал в такое безысходное уныние, что хладнокровно решился на этот страшный шаг, вообразив, будто бы нам дозволено покинуть жизнь, если жизнь покидает нас. Мне представлялось, что сама природа допускает самоубийство. Горе так же разрушает

душу, как разрушает тело нестерпимая боль; следовательно, думал я, ежели человека измучила душевная боль, то он вправе будет покончить с собою на том же основании, на каком овца, больная «вертячкой», разбивает себе голову, налетев на дерево. Разве утолить боль душевную легче, нежели боль телесную? Я и сейчас сомневаюсь в этом. Не знаю, кто слабее духом: тот ли, кто вечно надеется, или тот, кто не надеется более? Я считал, что самоубийство — это последняя стадия духовного недуга, как естественная смерть — завершение недуга телесного; но жизнь духовная подчиняется особым законам человеческой воли, и, чтобы пресечь свою жизнь, нужно согласие разума: значит, убивает мысль, а не пистолет. Кроме того, не является ли сам случай, по милости которого нас постигло горе в тот миг, когда мы вкушали полное счастье, оправданием человеку, отказывающемуся влачить жалкое существование? Я много размышлял, сударь, в те скорбные дни и в конце концов дошел до более высоких умозаключений. Некоторое время я разделял учения языческой древности; я искал в них новых прав для человека, но, следуя нынешним светочам знания, проникнул глубже, чем мужи древности, в вопросы, некогда сведенные

в целые системы. Эпикур считал самоубийство дозволенным. Это — естественное завершение его философии. Он считал, что жить без чувственных наслаждений невозможно, а если путь к ним закрыт, лучше всего, да и вполне позволительно, одушевленному существу вновь слиться с неодушевленной природой и обрести покой, — ведь единственная цель человека — счастье и упование на счастье, поэтому для того, кто страдает, и страдает безнадежно, смерть становится благом; добровольно кончить дни свои — вот что только и остается сделать здравомыслящему человеку. Эпикур не восхвалял, но и не порицал этого действия; он ограничивался тем, что говорил, совершая возлияние Бахусу: «Все умрем, и нечего тут смеяться, нечего и слезы лить». Зенон и его последователи, проповедовавшие более высокую мораль, более строгое отношение к долгу, чем эпикурейцы, в иных случаях предписывали стоику самоубийство. Зенон рассуждал так: человек отличается от животного тем, что по собственному усмотрению распоряжается собой; отнимите у него право располагать своею жизнью и смертью — и вы сделаете его рабом людей и событий. Право располагать своею жизнью и смертью позволяет нам противостоять всем бедам, на

которые мы обречены и природою и обществом; но право располагать жизнью и смертью других людей порождает тиранию. Человек могущественен, лишь когда он обладает неограниченной свободой действий. Как избежать последствий непоправимой ошибки? Заурядный человек до дна выпьет чашу позора и будет жить, а мудрец выпьет цикуту и умрет; нужно ли отвоевывать считанные дни жизни у подагры, гложущей кости, и у волчанки, разъедающей лицо? Мудрец, улучив удобную минуту, прогонит обманщиков-лекарей и скажет последнее прости друзьям, на которых наводил тоску своими страданиями. А что предпринять, ежели попадешь во власть тирана, против которого сражался с оружием в руках? Или распишись в своем повиновении, или клади голову на плаху: глупец кладет голову на плаху, трус расписывается, а мудрец и напоследок утверждает свою свободу — он кончает с собою. «Свободные люди, — возглашал некогда стоик, — умейте быть свободными: свободными от страстей, жертвуя ими ради долга; свободными от людей, становясь недосягаемыми для них с помощью кинжала или яда; свободными от власти судьбы, ставя вехи, за которыми ей уже не догнать вас; свободными от предрассудков,

не смешивая их с обязательствами; свободными от животного страха, превозмогая грубый инстинкт, который приковывает к жизни стольких неудачников». Когда я извлек эти доводы из философского хлама древности, то вознамерился перенести их на другую почву — христианскую, подкрепив догматом свободы воли, которую даровал нам господь, дабы судить нас когда-нибудь своим судом. И я твердил: «Тогда-то я и буду защищаться». Но, сударь, эти рассуждения навели меня на мысль о том, что ждет нас после смерти, и я столкнулся со своими прежними, пошатнувшимися верованиями. Все приобретает важность в человеческой жизни, когда мысль о вечности тяготеет над самыми нашими незначительными решениями. Эта мысль властно воздействует на душу человека, и, когда он под ее влиянием начинает чувствовать в себе нечто необъятное, связующее его с бесконечностью, все кругом меняется необыкновенно. Если смотришь на жизнь с такой точки зрения, то видишь ее во всем величии и во всем ничтожестве. Я хоть и сознавал свои прегрешения, но не помышлял о небесах, покуда у меня были надежды на земле, покуда я рассеивал в житейских делах свое горе. Любить, посвятить себя счастью женщины, стать главою

семьи — разве все это не было бы искуплением проступка, не дававшего мне покоя? Попытка не удалась, но разве не было бы также искуплением посвятить всю свою жизнь ребенку? Дважды я тщетно старался утолить эту потребность души, и теперь, когда презрение человеческое и смерть обрекли мою душу на вечную скорбь, когда все мои чувства были попраны и когда я уже ничего не ждал от жизни, тогда-то я и обратился к небу и вновь обрел бога. Однако я попытался сделать религию соучастницей моей смерти. И вот я перечел Евангелие и не нашел ни одного текста, запрещавшего самоубийство; но, читая, я вник в божественное слово Спасителя. Правда, он не говорит о бессмертии души, зато повествует о прекрасном царстве своего Отца; он ведь не запрещает нам и отцеубийство, но клеймит всякое зло. Слава его апостолов и доказательство того, что они посланы свыше, не столько в создании законов, сколько в распространении на земле духа новых законов. И тут мне представилось, что мужество, которое якобы проявляет человек, кончая с собою, является самоосуждением; ибо раз у него хватит силы воли умереть, значит, у него должно хватить силы воли, чтобы жить и бороться; когда бежишь от страдания, выказываешь не силу,

а слабость; к тому же расстаться с жизнью из малодушия — значит отречься от христианской веры, в основу которой Христос положил возвышенные слова: «Блаженны страждущие». Итак, я уже не оправдывал самоубийство даже при полном крушении всего, даже если человек, из ложного представления о величии души, кончает с собою в тот миг, когда палач заносит над ним топор. Иисус Христос пошел на крестную муку и тем самым учил нас повиноваться законам, хотя бы люди и применяли их несправедливо. Слово «самоотречение», высеченное на кресте и доступное пониманию тех, кто вникает в священные письмена, предстало передо мною во всем своем божественном значении. У меня еще сохранилось восемьдесят тысяч франков, и я решил было удалиться от людей и остаток дней своих провести в сельской глуши; но презрение к обществу себе подобных и своего рода тщеславие под оболочкой суровой нелюдимости не принадлежат к добродетелям, которые проповедует католическая религия. Сердце человеконенавистника не страждет, а черствеет, мое же сердце обливалось кровью. Размышляя о церкви, о ее помощи всем скорбящим, я понял, как прекрасна молитва в одиночестве, и твердо задумал тогда послужить

Господу Богу, как говорили в старину наши предки. Мое решение было бесповоротно, но я оставил за собою право сперва изучить средства, какими мне надлежит достичь цели. Я распродал все, что у меня осталось, и уехал, почти успокоившись душою. «Мир во Господе» стал единственною моею надеждой, которая не могла обмануть. Душу мою пленил устав ордена святого Бруно, я пешком отправился в Гранд-Шартрез, полный глубокого раздумья. То был памятный день. Я даже не ожидал, что такое сильное и глубокое впечатление произведет на меня этот путь, где на каждом шагу видишь природу в ее непостижимом могуществе. Вокруг — нависающие скалы, пропасти, потоки, наполняющие тишину глухим рокотом, безлюдная земля, пределом которой служат высокие горы и которой все же нет предела, убежище, куда человека приводит последнее оставшееся чувство бесплодного любопытства; хаос первоздания, сглаженный чарующими пейзажами, вековые ели и цветы-однодневки — все это склоняет к сосредоточенности. Нельзя с веселым смехом пройти по пустыне святого Бруно, ибо там царит тоска. Я посетил монастырь Гранд-Шартрез, бродил под безмолвными древними сводами, слушал, как под аркадами, сбегая капля

за каплей, звенит источник. Я вошел в келью, чтобы постичь все свое ничтожество; на меня повеяло суровым покоем, и я с умилением прочел надпись, начертанную на двери по обычаю, заведенному в обители; тремя латинскими словами были изложены в ней заповеди той жизни, к которой я так стремился: «Fuge, late, tace…»[14]

Женеста кивнул с понимающим видом.

— И я решился, — продолжал Бенаси. — Стены кельи, обшитые еловыми досками, жесткое ложе, уединение — все отвечало моему душевному состоянию. Монахи были в часовне, я пошел помолиться вместе с ними. И тут я сразу изменил решение… Сударь, я не собираюсь осуждать католическую церковь, я строго придерживаюсь ее обрядов, верую в ее заповеди, но, слушая, как неведомые миру и умершие для мира старцы поют молитвы, я понял, что в основе монастырского уединения заложен своего рода возвышенный эгоизм. Такое уединение идет на благо лишь тому, кто удалился от мира, это не что иное, как медленное самоубийство, и я не порицаю его, сударь. Раз церковь учредила эти склепы, значит, они необходимы каким-то христианам, беспо-

---

[14] Примечания: 14
Беги, скрывайся, молчи (*лат.*)

лезным для общества. Я же предпочел жить так, чтобы раскаяние мое принесло обществу пользу. На обратном пути я долго думал, как же мне осуществить мои планы полного самоотречения. Мысленно я уже вел жизнь простого матроса, обрекал себя служению отечеству на самых нижних ступенях, отрекался от всяких умственных запросов, но затем мне стало казаться, что такая жизнь, хоть и полная труда и самопожертвования, все же недостаточно полезна. На этом поприще я бы никак не оправдал господних предначертаний. Ведь если бог наделил меня неплохими умственными способностями, значит, мой долг употребить их на благо человечества. И откровенно говоря, я чувствовал такую потребность духовного общения с людьми, что меня тяготили бы обязанности, которые выполняешь не размышляя. А кроме того, если бы я стал матросом, мне негде было бы проявлять милосердие, которое свойственно моему духовному складу, — так всякому цветку присущ свой неповторимый аромат. Я уже рассказывал вам, что мне пришлось здесь переночевать. И в ту ночь я воспринял как Божие веление глубокую жалость, внушенную мне бедственным положением этого края. Вкусив однажды мучительную радость отцовства, я те-

перь готов был предаться ей всецело, утолить это чувство в заботах куда более обширных, нежели отцовские, стать братом милосердия всему краю и неустанно врачевать язвы бедняков. Я подумал, что перст Божий указал мне верный путь еще тогда, в юности, когда первым моим серьезным побуждением было стать врачом, и я решил именно здесь применить свои познания. Да и к тому же я ведь написал в своем послании: «Сердцам разбитым — мрак и тишина»; надо было воплотить в жизнь то, на что я обрек себя сам. Я вступил на путь молчания и самоотречения. «Fuge, late, tace» картезианцев стало моим девизом, труд мой — действенной молитвой, нравственное мое самоубийство — жизнью этого кантона, простирая руку над которым я сею счастье и радость, даю то, чего лишен сам. Я привык жить с крестьянами, вдали от света, и действительно переродился. Лицо мое изменило выражение, оно огрубело от солнца, покрылось морщинами. И ходить я стал, как крестьяне, и говорить, как они, и одеваться небрежно и не по моде, отбросил всякие ухищрения. Светские щеголихи, угодником которых я был, и мои парижские приятели не узнали бы во мне человека, одно время блиставшего в свете, сибарита, привыкшего к утонченной роскоши,

к изысканности парижских гостиных. Ныне все внешнее мне безразлично, как всякому, у кого в жизни лишь одна цель. Ведь я думаю только об одном — о том, чтобы расстаться с жизнью; я не стремлюсь ни предотвратить, ни ускорить конец, но без малейшего сожаления уйду из жизни в тот день, когда мною овладеет смертельный недуг. Я чистосердечно рассказал вам обо всем, что довелось мне испытать до того, как я поселился здесь. Я не утаил своих грехов — больших грехов, однако они присущи и другим. Страдал я много, страдаю ежечасно, но в своих страданиях я вижу залог счастливого будущего. Я покорился судьбе, но есть у меня горе, против которого я бессилен. Сегодня я на ваших глазах чуть было не дал воли затаенному страданию, только вы этого не заметили.

Женеста подскочил.

— Да, капитан Блюто, это было при вас. Вы же сами указали мне на постель тетушки Кола, когда мы уложили Жака. Стоит мне увидеть детей, и мне всегда вспоминается ангел, которого я утратил; судите же сами, как мне было тяжело укладывать в кровать ребенка, приговоренного к смерти. Я не могу равнодушно смотреть на детей.

Женеста побледнел.

— Да, милые белокурые головки, невинные детские личики всегда напоминают мне о моих несчастьях и пробуждают мое горе. Я с ужасом думаю, что столько людей благодарят меня за крохи добра, сделанного мною здесь, а ведь добро это — плод угрызений совести. Лишь вы один, капитан, знаете тайну моей жизни. Если б я черпал мужество в чувстве менее горьком, нежели сознание своих прегрешений, то был бы вполне счастлив! Но тогда мне не о чем было бы вам рассказывать.

Глава V
Элегии

Бенаси закончил свое повествование и поразился, заметив, каким скорбным стало лицо офицера. Он был тронут отзывчивостью гостя, даже попенял на себя, что огорчил его, и сказал:

— Право же, мое горе, капитан Блюто…

— Не называйте меня капитаном Блюто! — прервал его Женеста, вскакивая и этим порывистым движением явно выказывая недовольство собою. — Никакого капитана Блюто нет, а я просто негодяй!

Бенаси с живейшим удивлением взглянул на Женеста, который метался по гостиной, как мечется шмель, когда старается выбраться из комнаты, куда залетел нечаянно.

— Так кто же вы, сударь? — спросил Бенаси.

— В том-то и дело! — отвечал офицер, снова усевшись против врача, но не решаясь посмотреть на него. — Я вас обманул, — продолжал он взволнованным голосом. — Солгал первый раз в жизни и жестоко наказан, потому что теперь язык у меня не повернется объяснить вам, зачем

я приехал, зачем занялся гнусным шпионством. После того как я, можно сказать, заглянул вам в душу, мне легче получить пощечину, нежели слышать, что вы называете меня капитаном Блюто. Вы-то, конечно, простите мне эту ложь, но я себе никогда ее не прощу, ибо я, Пьер-Жозеф Женеста, ради спасения собственной жизни не сказал бы неправды и перед военным судом.

— Вы — майор Женеста? — воскликнул Бенаси, вставая. Он взял руку офицера и, от всего сердца пожав ее, продолжал: — Сударь, вы сейчас сами сказали, что мы были друзьями, еще не познакомившись. Мне очень хотелось встретиться с вами, ведь мне про вас много рассказывал господин Гравье. Он вас называл героем Плутарха.

— Куда мне до Плутарха! — отвечал Женеста. — Я вас не достоин и готов поколотить себя. Я должен был напрямик выложить вам свою тайну. Впрочем, я хорошо сделал, что надел личину и приехал сам собрать сведения о вас. Теперь-то я хоть знаю, что должен молчать. Вам было бы тяжело, когда б я действовал открыто. Боже меня избави хоть чем-нибудь огорчить вас!

— Помилуйте, майор, я ничего не понимаю!

— Продолжать не стоит. Я ничем не болен, я превосходно провел день и завтра уеду. В Гре-

нобле у вас теперь будет одним другом больше, и другом надежным. Кошелек, сабля, кровь Пьера-Жозефа Женеста к вашим услугам. Вообще же слова ваши упали на хорошую почву. Вот выйду на пенсию, отправлюсь куда-нибудь в захолустье, стану мэром и постараюсь подражать вам. У меня нет ваших знаний, но я буду учиться.

— Вы правы, сударь, землевладелец, взявшийся за исправление какого-нибудь изъяна в хозяйстве общины, пусть самого незначительного, приносит краю не меньше добра, чем наилучший врач; один исцеляет недуги людей, другой врачует раны отечества. Однако ваши слова живо затронули мое любопытство. Скажите, не могу ли я быть вам полезен?

— Полезен? — взволнованно повторил офицер. — Боже мой, дорогой господин Бенаси, я не смею и заикнуться о той услуге, о которой приехал просить вас. Послушайте, немало я на своем веку поубивал христиан; но можно убивать людей в сражении, а сердце иметь доброе; хоть с виду я и грубоват, но кое-что еще способен понять.

— Да говорите же.

— Не скажу, не хочу заведомо огорчать вас.

— Я умею переносить страдания, майор.

— Дело идет о жизни ребенка, — сказал офицер дрогнувшим голосом.

Бенаси нахмурился, но движением руки попросил Женеста продолжать.

— О жизни ребенка, — повторил Женеста, — которого, надеюсь, еще мог бы спасти тщательный и постоянный уход. Где же найти врача, готового безраздельно посвятить себя одному-единственному больному? В городе наверняка не найдешь. Мне все говорили, какой вы замечательный человек, но я очень боялся, что это обман, незаслуженная репутация. И вот, прежде чем доверить мальчугана этому самому господину Бенаси, о котором мне рассказывали столько хорошего, я решил его узнать. Теперь…

— Довольно, — сказал доктор, — это ваш сын?

— Нет, нет, дорогой господин Бенаси. Придется рассказать вам одну историйку, где я играю не очень-то привлекательную роль, тогда вы все поймете. Вы ведь доверили мне свои тайны, значит, я могу вам выложить свои.

— Погодите, майор, — сказал доктор и позвал Жакоту; она явилась тотчас же, и Бенаси попросил ее принести чаю. — Видите ли, по ночам все люди спят, а у меня бессонница… Горе гнетет меня, и я, чтобы забыться, пью чай. Этот напиток

дурманит, притупляет нервы и навевает сон, который дает мне силы жить. А вы не хотите чаю?

— Предпочитаю ваше монастырское вино, — ответил Женеста.

— Вино так вино. Жакота, — сказал Бенаси служанке, — принесите вина и бисквитов. Подкрепимся на ночь, — заметил доктор, обращаясь к гостю.

— Чай, должно быть, вам вреден, — заметил Женеста.

— Он вызывает у меня мучительные приступы подагры, но я не хочу отказываться от этой привычки. Как бывает приятно, когда по вечерам жизнь хоть на мгновение перестает быть мне в тягость. Итак, я слушаю вас. Быть может, ваш рассказ успокоит душевную боль, которую вызвали у меня воспоминания.

— Так вот, дорогой мой доктор, — сказал Женеста, ставя на камин пустой стакан, — после отступления от Москвы мой полк остановился на отдых в одном польском городке. На вес золота закупили мы лошадей и расположились, ожидая возвращения императора. Все шло хорошо. Надо вам сказать, что в ту пору был у меня друг. Когда мы отступали, меня не раз спасал от смерти унтерофицер по фамилии Ренар, сделавший для меня

столько, что мы побратались, конечно, не нарушая воинской дисциплины. Мы поселились под одной крышей, в бревенчатой избе, в настоящей крысиной норе, где ютилось целое семейство; вы бы туда свою лошадь не поставили. Халупа принадлежала еврейской семье, торговавшей всякой всячиной, и старик отец, несмотря на стужу, хорошо нагрел руки, поживившись при нашем отступлении. Есть такие люди — живут в грязи, а умирают в золоте. Под домом, в подвале, они понаделали деревянных клетушек, куда затолкали своих детей, в том числе красавицу дочь — такие красавицы только и бывают среди евреек, когда они опрятные и не рыжеволосые. Ей было лет семнадцать, кожа у нее была матовой белизны, глаза бархатные, ресницы черные, длинные, а по густым блестящим волосам так и хотелось провести рукой. Словом, красавица, да и только! Я первый обнаружил эти запрятанные сокровища как-то вечером, когда преспокойно разгуливал по улице, покуривая трубку, а все думали, что я уже сплю. Картинка была презабавная: ребятишки возились, как щенята. Родители ужинали вместе с детьми. Я вгляделся и сквозь табачный дым, который клубами выпускал из трубки отец семейства, рассмотрел молодую еврейку, блиставшую

красотою, как новенькая золотая монета в груде медяков. Дорогой господин Бенаси, всю жизнь мне было некогда думать о любви. А тут стоило мне увидеть эту девушку, и я понял, что до сих пор я лишь подчинялся зову природы. На этот раз я полюбил — умом, сердцем, всем существом своим. По уши влюбился, и как влюбился! Долго стоял я, курил трубку и все смотрел на еврейку, покуда она не задула свечу и не легла спать. А я не мог сомкнуть глаз. Всю ночь напролет я набивал трубку, курил, слонялся по улице. Ничего подобного со мной еще не случалось. Впервые за всю жизнь я подумал о женитьбе. Утром я оседлал лошадь и битых два часа скакал по полям, чтобы прийти в себя; чуть не загнал коня.

Женеста умолк, тревожно взглянул на своего нового друга, потом сказал:

— Простите меня, Бенаси, я не мастер рассказывать, что на ум придет, то и говорю; в гостиной я бы постеснялся, но с вами, да еще в деревне…

— Продолжайте, — сказал врач.

— Когда я вернулся, то застал Ренара в смятении. Он думал, что меня убили на поединке, и чистил пистолеты, решив затеять ссору с тем, кто меня отправил в царство теней… Видали вы плута! Я поведал ему о своей любви и показал

закуток с хозяйскими детьми. Ренар понимал их тарабарщину, я попросил его помочь мне, передать о моих намерениях отцу и матери и постараться устроить мне встречу с Юдифью. Звали ее Юдифь. Сударь, две недели не было на свете человека счастливее меня: всякий вечер старик еврей с женою приглашали меня отужинать в обществе Юдифи. Вам знакомы все эти штуки; чтобы не наскучить вам, не стану о них рассказывать; однако ежели вы не знаете вкуса в табаке, то и не поймете, как приятно порядочному человеку сидеть, не сводя глаз со своей красавицы, и не спеша покуривать трубку вместе со своим закадычным другом и ее папашей. Одно удовольствие! Надо вам сказать, что Ренар был парижанин, балованный малый. Его отец, оптовый торговец бакалейными товарами, дал ему образование, готовя в нотариусы. Кое-чему он успел научиться, да его взяли по рекрутскому набору, и ему пришлось расстаться с конторой. Его фигура была создана для мундира, он был хорош собою и умел обольщать. Его-то и любила Юдифь, а я был ей нужен, как прошлогодний снег. Пока я млел от восторга и витал в облаках, глядя на Юдифь, хитрец Ренар шел к цели окольными путями: изменщик сговорился с девушкой, и они

обвенчались по местному закону, потому что разрешения пришлось бы ждать слишком долго. Он обещал, что женится на ней потом и по французским законам, если бы брак вдруг не признали. На самом же деле во Франции госпожа Ренар снова превратилась бы в мадмуазель Юдифь. Узнай я в ту пору об этом, так бы и убил Ренара наповал, но девушка, ее родители и мой приятель отлично столковались между собою. Пока я покуривал трубку да боготворил Юдифь, как святая святых, Ренар сговаривался о свиданиях и наилучшим образом обделывал свои делишки. Никому, кроме вас, я не рассказывал об этой истории, уж очень много в ней подлого; не могу взять в толк, как это мужчина, который умер бы со стыда, если б стащил золотую монету, без зазрения совести крадет у друга любимую женщину, все его счастье, жизнь. Словом, обманщики поженились и блаженствовали, а я все проводил с ними вечера, ужинал, словно болван, восхищался Юдифью и, как тенор, отвечал сладкими улыбками на ее заигрывания, когда она старалась отвести мне глаза. Дорогой ценой заплатили они за свой обман! Клянусь честью, господь бог разбирается в мирских делах гораздо лучше, чем мы думаем. Вот русские охватили наши фланги. Началась

кампания тысяча восемьсот тринадцатого года. Нас окружили. В одно прекрасное утро получаем приказ — быть в назначенное время на поле боя у Лютцена. Император отлично знал, что делает, приказывая нам выступать немедленно. Русские обошли нас. Командир полка замешкался, прощаясь с какой-то полькой, жившей неподалеку от городка, и передовой казачий отряд тут-то и захватил нашего полковника вместе с его пикетом. Мы еле-еле успели вскочить на коней, построиться за городом, открыть огонь и потеснить русских, чтобы самим улизнуть ночью. Дрались мы целых три часа и в самом деле показывали чудеса храбрости. Покуда мы сражались, весь наш полковой обоз ушел вперед. У нас был артиллерийский парк и запасы пороха, позарез нужные императору; делай что хочешь, а доставь ему все это. Наш отпор озадачил русских, решивших, что нас поддерживает целый корпус. Однако лазутчики скоро оповестили их, что это ошибка, что они ведут бой всего лишь с кавалерийским полком и запасной пехотной частью. И вот, сударь, под вечер они пошли, все сметая, в наступление, да так пошли, что много наших полегло на поле боя. Нас оцепили. Я и Ренар сражались на передовой линии. Он на моих глазах дрался и стрелял так,

будто в него вселился дьявол, — ведь он думал о своей жене. Благодаря ему мы пробились к городку, который обороняли наши больные солдаты; на них смотреть было жалко. Ренар и я возвращались последними, глядим, а дорога занята казачьим отрядом; врезаемся в него. Какой-то казак вот-вот проткнет меня пикой. Ренар видит это, загораживает меня своим конем, удар приходится по бедному коню, а конь был, право, знатный, — он падает, подминает Ренара и казака. Наповал убиваю казака, хватаю Ренара под руки, укладываю поперек лошади перед собою, как мешок с зерном.

— Прощайте, капитан, все кончено, — говорит мне Ренар.

— Ну нет, — отвечаю я, — еще посмотрим!

Въезжаем в город. Я соскочил с коня, подстелил соломы у какой-то стены, усадил Ренара. У него голова была рассечена, волосы забрызганы мозгами, а он все еще говорил! Да, твердый был человек!

— Мы квиты, — сказал он. — Я за вас отдал жизнь, зато взял у вас Юдифь. Позаботьтесь о ней и о ее ребенке, если ребенок родится. А лучше всего женитесь на ней.

Сгоряча я бросил его, как пса, но, когда ярость

поутихла, вернулся. Он был мертв. Казаки подожгли городок; тут я вспомнил о Юдифи, пошел за ней, посадил ее вместе с собой на коня, и он домчал нас до полка, который все отступал. Отец Юдифи и все семейство словно в воду канули — сгинули, как крысы. Одна Юдифь ждала Ренара. Сами понимаете, поначалу я ей ни слова не сказал. Мне пришлось, сударь, заботиться о ней в разгаре злосчастной кампании тысяча восемьсот тринадцатого года, отыскивать ей помещение, да поудобнее, нянчиться с ней; она, кажется, и не замечала, что творится вокруг. Я был так предусмотрителен, что всегда устраивал ее лье на десять впереди нас — поближе к Франции; она родила мальчишку, пока мы бились под Ганау. В этом сражении я был ранен и догнал Юдифь в Страсбурге, затем мы поехали в Париж, — мне так не повезло, что я провалялся, пока длилась вся кампания. Если б не этот несчастный случай, быть бы мне тогда же гренадером императорской гвардии, потому что император собирался перевести меня туда с повышением. Словом, сударь, мне пришлось опекать женщину и чужого ребенка, а ведь у меня было перебито три ребра. Сами понимаете, жалованье я получал небольшое. Папаша Ренара, старая беззубая акула, от невестки

отрекся; папаша Юдифи словно сквозь землю провалился. Бедняжка таяла от печали. Однажды утром, перевязывая мне рану, она заплакала.

— Юдифь, над будущим вашего сына надо поставить крест, — сказал я.

— И на мне надо поставить крест, — промолвила Юдифь.

— Полно, — ответил я. — Раздобудем нужные бумаги, я женюсь на вас и узаконю сына… — Я не договорил — чьего сына. Что угодно сделаешь, дорогой доктор, ради горестного взгляда, которым поблагодарила меня Юдифь. Я понял, что не переставал любить ее, а ее сын с того дня занял прочное место в моем сердце. Пока бумаги и родители Юдифи были в пути, она все слабела. Накануне смерти она собрала последние силы, принарядилась, проделала все церемонии, какие полагается, подписала ворох бумажонок, а когда ее сын получил имя и отца, она снова слегла; я поцеловал ее руки, лоб, и она отошла. Вот какая у меня была свадьба! День спустя я купил несколько футов земли для ее могилки и оказался отцом круглого сироты, которого отдал на попечение кормилицы, пока шла кампания тысяча восемьсот пятнадцатого года. С той поры — надо вам сказать, что никто не знал об этом событии моей

жизни, потому что гордиться мне тут нечем, — я стал заботиться о мальчишке, как о родном сыне. Его дед разорился, скитается со всем семейством где-то у черта на куличках, между Персией и Россией. Может быть, он и разбогатеет, — говорили, что он большой знаток в торговле драгоценными камнями. Мальчика я поместил в коллеж, а вот недавно засадил его за математику, чтобы он поступил в Политехническое училище и окончил бы его с отличием; но бедный мальчишка заболел от утомления. Он — слабогрудый. Парижские врачи говорят, будто он еще может окрепнуть, если побродит по горам и поживет под неусыпным надзором человека, который вложит душу в заботу о нем. Вот я и подумал о вас, приехал познакомиться с вашими взглядами, с образом вашей жизни. Но, услышав ваш рассказ, я понял, что не могу навязать вам такое мученье, хоть мы с вами и стали добрыми друзьями.

— Майор, привозите сына Юдифи, — сказал Бенаси после недолгого молчания. — Видно, богу угодно, чтобы я прошел через это последнее испытание, и я претерплю его. Муки свои я принесу в дар Господу, чей Сын умер на кресте. К тому же ваш рассказ глубоко тронул меня, не причинив боли, а это хорошее предзнаменование.

Женеста схватил врача за обе руки, пожал их, не удерживая слез, набежавших на глаза, и они покатились по его загорелым щекам; потом он сказал:

— Пусть это будет нашей общей тайной.

— Конечно, майор. Отчего вы не пьете?

— Не хочется, — ответил Женеста. — Я сам не свой.

— Ну что ж, когда вы привезете мальчика?

— Да хоть завтра, ежели вам угодно. Уже два дня, как он в Гренобле.

— Ну что ж, поезжайте за ним с утра и тотчас возвращайтесь. Я буду поджидать вас у Могильщицы, мы у нее и позавтракаем вчетвером.

— Решено, — ответил Женеста.

Друзья отправились на покой, пожелав друг другу доброй ночи. Когда они дошли до площадки, разделявшей их комнаты, Женеста поставил свечу на подоконник и, обернувшись к Бенаси, сказал горячо и задушевно:

— Громы небесные! На прощанье я должен сказать вам, что вы третий человек на белом свете, который заставил меня поверить, что там вверху кто-то есть! — И он указал на небо.

Врач в ответ печально улыбнулся и сердечно пожал ему руку.

На следующее утро, едва начало светать, офицер отправился в город, а к полудню уже подъезжал к тому месту, где от тракта, соединяющего Гренобль с селением, ответвлялась тропинка, ведущая к домику Могильщицы. Он ехал в открытой двуколке, в которую запрягается одна лошадь, — такие легонькие коляски встретишь на всех дорогах в здешних горных краях. Спутнику офицера, худенькому, истощенному подростку, можно было дать лет двенадцать, хотя ему шел шестнадцатый год. Прежде чем сойти, офицер осмотрелся, надеясь, что поблизости отыщется какой-нибудь крестьянин, который доставит коляску к Бенаси, потому что проехать по узкой тропе до домика Могильщицы было просто невозможно. Случайно на дорогу вышел полевой сторож, он-то и взялся помочь Женеста, и офицер вместе с приемным сыном отправился пешком по горным тропкам к месту свиданья.

— Сколько у тебя радостей впереди, Адриен: исходишь за год этот прекрасный край, научишься охотиться, ездить верхом, вместо того чтобы сохнуть над книгами. Полюбуйся-ка!

Адриен бросил на долину тусклый взгляд, какой бывает у больных детей, но его, как вообще молодежь, не трогали красоты природы, и он

сказал, не останавливаясь:

— Вы так добры, папенька.

Безразличие это, усиленное недугом, глубоко огорчило офицера, и он больше не заговаривал с сыном до самого дома девушки.

— Как вы точны, майор! — воскликнул Бенаси, поднимаясь с деревянной скамейки, на которой сидел.

Но он тотчас же снова опустился на нее и устремил озабоченный взгляд на Адриена; внимательно изучая его желтое и утомленное лицо, он в то же время любовался мягкими его чертами, полными благородной красоты. Мальчик, живой портрет матери, унаследовал ее нежную, матовую кожу и прекрасные черные глаза, умные и печальные. Своеобразная красота польских евреев запечатлелась на этом юном лице, обрамленном густыми волосами; только голова была, пожалуй, чересчур велика по сравнению с тщедушным телом.

— Как вы спите, милый мой мальчик? — спросил его Бенаси.

— Хорошо, сударь.

— Покажите-ка мне колени, засучите панталоны.

Адриен, краснея, развязал подвязки, и доктор

тщательно ощупал его колено.

— Так, так! А ну-ка, скажите что-нибудь, крикните, да погромче!

Адриен крикнул.

— Довольно. Дайте-ка сюда руки…

Юноша протянул вялые, белые, словно у женщины, руки с голубоватыми жилками.

— Как называется школа, в которой вы учились в Париже?

— Лицей Людовика Четырнадцатого.

— Не читал ли вам директор по ночам требник?

— Читал, сударь.

— Значит, вы не сразу засыпали?

Адриен промолчал, и Женеста сказал доктору:

— Директор у них священник, весьма достойный человек; он сам посоветовал мне взять из лицея моего маленького воина из-за слабого здоровья.

— Что ж, — отвечал Бенаси, погружая ясный взгляд свой в неспокойные глаза Адриена. — Мы его вылечим. Сделаем из него настоящего мужчину. Жить будем, как два приятеля, дружок! Ложиться спать будем рано, вставать тоже рано. Я научу вашего сына ездить верхом, майор. Месяца два полечим его желудок, есть он будет

только молочную пищу; а потом я достану для него право на ношение оружия, разрешение на охоту, передам мальчика Бютифе, и они вдвоем начнут охотиться на серн. Пусть ваш сын месяцев пять поживет в деревне, и вы его не узнаете, майор. Бютифе будет на седьмом небе. Знаю я этого непоседу, он доведет вас, дружок, до самой Швейцарии, напрямик через Альпы, потащит вас на вершины гор, и за шесть месяцев вы вырастете на шесть дюймов; у вас опять заиграет на щеках румянец, закалятся нервы, и вы позабудете все скверные привычки, привитые в лицее. А потом снова возьметесь за учение и станете человеком. Бютифе — честный парень, мы ему доверим деньги, и он будет оплачивать расходы все то время, пока вы будете вместе странствовать и охотиться; чувство ответственности сделает его благоразумным на полгода, и он тоже многое выиграет от этого.

Лицо Женеста прояснялось с каждым словом врача.

— Пойдемте завтракать. Нашей хозяюшке не терпится увидеть вас, — сказал Бенаси, ласково потрепав Адриена по щеке.

— У него, значит, нет чахотки? — спросил Женеста, взяв врача под руку и отводя в сторону.

— Нет и намека.

— Так что же с ним?

— Э, да просто он в переходном возрасте, вот и все, — ответил врач.

На пороге появилась Могильщица, и Женеста удивился, увидев ее простой, но изящный наряд. Не вчерашняя крестьяночка, а грациозная парижанка, одетая со вкусом, бросила на него неотразимый взгляд. Офицер отвел глаза и посмотрел на ореховый стол, не покрытый скатертью, зато навощенный с таким старанием, что он блестел, будто отполированный; на нем виднелись деревенские яства: яйца, масло, пирог и душистая горная земляника. Девушка украсила комнату цветами — это говорило о том, что сегодня у нее праздник. И офицеру невольно захотелось стать хозяином этого уютного домика, этой лужайки, он взглянул на крестьянку с надеждою и сомнением и перевел взгляд на Адриена, которого девушка усердно потчевала, чтобы скрыть свое смущение.

— А знаете ли вы, майор, — сказал Бенаси, — какою ценой вы добились здесь гостеприимства? Вам придется рассказать моей питомице какой-нибудь случай из военной жизни.

— Пусть господин офицер сначала спокойно

позавтракает, а уж когда он выпьет кофе…

— Конечно, расскажу, и охотно, — ответил Женеста. — Однако ставлю условие: вы тоже расскажете нам о каком-нибудь приключении из своей жизни.

— Право, сударь, со мной никогда ничего не приключалось… Ничего такого, о чем бы стоило рассказывать, — отвечала она, зардевшись. — Не хотите ли еще кусочек пирога, дружок? — спросила она Адриена, заметив, что у него пустая тарелка.

— Хочу, мадмуазель.

— Пирог превкусный, — заметил Женеста.

— А вот увидите, какой у нее кофе со сливками! — воскликнул Бенаси.

— Я бы ему предпочел рассказ нашей прелестной хозяюшки.

— Не так приступаете к делу, Женеста, — сказал врач. — Знаешь, милая моя девочка, — продолжал он, обращаясь к Могильщице и пожимая ей руку, — у этого офицера под суровой внешностью скрывается добрейшее сердце, и тебе нечего стесняться. Хочешь, говори, хочешь — нет, дело твое. Бедная моя детка, выслушать и понять тебя могут только три человека на свете — вот они перед тобою. Расскажи-ка нам, были ли у тебя прежде

сердечные привязанности, но не думай, мы не собираемся выведывать теперешние твои тайны.

— Вот Мариетта принесла кофе, — отвечала девушка, — вы позавтракаете, и я охотно расскажу вам о своих сердечных делах. А вы, господин офицер, не забудете своего обещания? — прибавила она, посмотрев на Женеста с милым задором.

— Как можно, мадмуазель, — почтительно склонившись, ответил офицер.

— В шестнадцать лет я часто прихварывала, — так начала свой рассказ девушка, — и все же мне приходилось бродить по савойским дорогам и просить милостыню. На ночлег я отправлялась в Эшель и спала в хлеву на соломе. Приют мне давал хозяин постоялого двора; сам он был человек предобрый, а вот его жена невзлюбила меня и всегда бранила. И как же это меня обижало, ведь я хоть и была нищенкой, а вела себя хорошо, утром и вечером молилась, не воровала, жила по заповедям Божьим, а подаяния просила, потому что ничего не умела делать, хворала и силы у меня не было не только мотыгой работать, но даже нитки сучить. И вот прогнали меня с постоялого двора — из-за собаки. С самой колыбели не видела я ласки, жила без родных, без друзей, без радости. Покойная бабушка Морен вырастила

меня, много мне добра сделала, но не помню, приголубила ли она меня хоть разок, да и некогда ей было: старушка работала в поле за мужчину; бывало, пожалеет меня и тут же ложкой — хлоп по рукам, если я уж очень рьяно набрасывалась на похлебку, — ели-то мы из одной плошки. Бедненькая бабушка Морен! Нет дня, чтобы я не помянула ее в своих молитвах. Дал бы милосердный Бог, чтобы ей на небе жилось получше, чем на земле, а главное — чтоб постель была поудобней; она всегда жаловалась, что очень уж жестко ей спать, да и спали-то мы вместе. Так вот, вы и представить себе не можете, до чего обидны брань, окрики и злые взгляды, от них сердцу бывает больнее, чем от удара ножом. Я знавала стариков-нищих, которые уже обтерпелись; но я-то не была создана для того, чтобы побираться. Как услышу: «Не подаем», так и заплачу. С каждым вечером все тяжелее и тяжелее становилось у меня на душе; утешение находила я только в молитвах. На всем божьем свете не было никого, кому бы я могла излить свое горе. Одно синее небо было мне другом. Увижу, бывало, что небо синее-пресинее, и радуюсь. Ветер разгонит тучи, я заберусь в укромное местечко среди скал, лягу, гляжу на небо. И воображаю себя важной дамой.

До того досмотрюсь, бывало, что покажется мне, будто я плаваю в этой синеве; перенесусь мыслью туда, в небеса, и будто становлюсь еще легче, как пушинку, меня уносит вверх, все выше, выше. А привязанности вот у меня какие были. Однажды собака на постоялом дворе принесла щеночка, такого славненького, беленького, с черными пятнышками на лапах: как сейчас вижу моего ангелочка! Только песик и смотрел на меня ласково; я припрятывала для него лакомые кусочки; он узнавал меня, по вечерам встречал, не стыдился моих лохмотьев, ластился, лизал мне ноги; а в глазенках у него было столько доброты, столько ласки, что посмотрю я на него, заплачу и скажу: «Один ты на всем свете и любишь меня». Зимой он спал, свернувшись у меня в ногах. Когда его били, мне словно самой было больно, и я отучила его забегать в дома, таскать кости; он довольствовался хлебом, который я приносила. Взгрустнется мне, он подбежит и заглядывает мне в глаза, будто хочет сказать: «О чем, бедняжка, грустишь?» И какой же был славный песик: кинут проезжие мне несколько грошей, он их подберет в пыли и принесет. Как завела я себе этого дружка, у меня на душе стало веселее. Каждый день я откладывала несколько су — мечтала скопить полсотни

франков и выкупить собачку у хозяина постоялого двора. А только хозяйка заметила вдруг, как привязался ко мне песик, и вообразила, будто она его обожает. А надо вам сказать, собака ее терпеть не могла. Животные чуют, какая у тебя душа, любишь ты их или нет. Я берегла золотую двадцатифранковую монету — носила ее зашитой в пояске — и вот говорю однажды хозяину:

— Уважаемый господин Монсо, мне хотелось скопить денег за год, чтобы купить у вас щенка. Да вот что — пока ваша жена совсем не забрала его себе, хоть он ей и ни к чему, уступите мне собачку за двадцать франков, возьмите их, вот деньги.

— Что ты, девочка, не нужны мне твои двадцать франков. Боже избави меня тянуть деньги с бедняков! Возьми себе собаку. А если жена раскричится, ступай отсюда.

И накинулась же она на него из-за собаки… Господи, расшумелась так, будто в доме начался пожар! Подумайте, что она сделала! Увидела, как щенок ко мне привязан, поняла, что никогда ей этого не добиться, взяла и отравила его. Бедный песик умер у меня на руках; я горевала, будто сыночка похоронила. Сколько слез пролила над его могилкой под елью. Уселась возле нее и думаю:

видно, суждено мне быть одинокой, никогда не знать мне счастья, нет у меня никого близкого на всем свете, и никто уж не посмотрит на меня любящим взглядом. Словом, всю ночь я просидела там, под открытым небом, молилась Богу, чтобы он надо мной сжалился. А когда я вышла на дорогу, то увидела безрукого нищего, мальчугана лет десяти. «Милосердный Бог услышал меня, — подумала я. — Ведь я еще никогда так не молилась ему, как нынешней ночью. Буду заботиться о бедненьком калеке, как родная мать; вместе будем просить милостыню, вместе больше соберем; пожалуй, ради него я стану посмелей». Мальчик сначала как будто был доволен, да и как не быть довольным: я исполняла все его желания, отдавала ему лучшие кусочки, в рабу его превратилась, а он меня мучил, но лучше уж мучиться, чем жить одиноко. И вот дрянной мальчишка пронюхал о тех двадцати франках, которыми я за песика хотела заплатить, умудрился распороть мой поясок и украл золотую монету. Я хотела на нее заказать обедни. Подумать только, безрукий, а вор! Как же тут не ужасаться! После его поступка жизнь мне совсем опостылела. Выходило так: стоит мне полюбить кого-нибудь, и все идет прахом! Как-то вижу, по Эшельской дороге едет

в гору нарядная коляска, а в ней сидит барышня, такая красотка — прямо Дева Мария; с ней молодой человек — точь-в-точь она. Он бросил мне серебряное экю и сказал девушке:

— Посмотри, какая хорошенькая!

Один вы, господин Бенаси, поймете, как эта похвала обрадовала меня, ведь никогда я таких слов не слышала; а лучше бы проезжий не бросал мне денег. Не знаю, что со мной случилось; видно, его слова вскружили мне голову, только я побежала напрямик по горным тропкам и очутилась на Эшельском кряже гораздо раньше проезжих; коляска их еле-еле поднималась в гору. Еще разок увидела я молодого человека, он удивился, а я так была рада, что сердце у меня чуть из груди не выскочило; сама не пойму, отчего меня так влекло к нему. Едва он меня узнал, как я бросилась бежать дальше, мне казалось, что они непременно остановятся полюбоваться водопадом Куз; добралась я туда, притаилась под придорожными ореховыми деревьями, а когда проезжие вышли из коляски и снова увидели, что я тут как тут, то стали меня расспрашивать — видно, приняли долю мою близко к сердцу. В жизни я еще не слыхала таких ласковых голосов, как у красавца путешественника и у его сестры; я уверена — она

была ему сестрою. Весь год я их вспоминала, все надеялась, что они вернутся. Жизни не пожалела бы, только бы еще разок посмотреть на того самого путешественника, так он мне понравился. И до тех пор, пока я не познакомилась с господином Бенаси, больше никаких событий в моей жизни не было; ведь в тот раз, когда хозяйка выгнала меня за то, что я примерила ее противное бальное платье, я пожалела ее и простила ей, вот и все. По правде говоря, я-то знаю, и вы можете мне поверить на слово, что я гораздо лучше ее, хоть она и графиня.

— Видите, Господь Бог все-таки пришел вам на помощь, — заметил Женеста после недолгого молчания, — ведь вам здесь живется привольно, как рыбе в воде.

При этих словах девушка бросила на врача взгляд, полный горячей благодарности.

— Эх, хотелось бы мне разбогатеть! — воскликнул офицер.

Воцарилось глубокое молчание.

— А ведь вы обещали мне рассказать что-нибудь, — вдруг вкрадчиво сказала девушка.

— И расскажу, — ответил Женеста. — Накануне битвы под Фридландом, — начал он помолчав, — ездил я с поручением к генералу Даву;

возвращаюсь на свой бивуак и за поворотом дороги лицом к лицу сталкиваюсь с императором. Смотрит на меня Наполеон и говорит:

— Ты — капитан Женеста?

— Так точно, ваше величество.

— Был в Египте?

— Так точно, ваше величество.

— Ты этой дорогой больше не езди, — говорит он, — сверни вон там, налево: гораздо скорее попадешь к себе в дивизию.

Вы не представляете даже, с какой добротою подал мне совет император, а ведь у самого дел было по горло — он объезжал местность, знакомился с полем битвы. Рассказываю об этом случае, чтобы вы видели, какая у него была память и что меня он в лицо знал. В тысяча восемьсот пятнадцатом году я принес присягу. Не числись за мной этого греха, пожалуй, был бы я теперь полковником; да ведь я и не думал изменять Бурбонам: в ту пору главное для меня дело было — защита Франции. Стал я командовать гренадерским эскадроном императорской гвардии, и хоть рана моя еще ныла, однако же я изрядно поработал саблей в битве при Ватерлоо. А когда все было кончено, я сопровождал Наполеона в Париж. Он отправился

в Рошфор[15]; и я за ним, несмотря на его приказ. Рад был, что довелось мне охранять его от бед, какие могли стрястись с ним в пути. Вышел он прогуляться на берег моря и увидел, что я стою на посту, шагах в десяти от него. Он подошел ко мне, спросил:

— Ну как, Женеста, еще живем?

Сердце у меня сжалось от его слов. Если б вы их услышали, дрожь бы и вас пробрала. Он указал на ненавистное английское судно, охранявшее входы и выходы в порту, и сказал:

— Смотрю и жалею, что не утонул я в крови моей гвардии!

Посмотрев на врача и на девушку, Женеста подчеркнул:

— Именно так он и сказал. «Маршалы, которые не дали вам самому пойти в атаку да усадили вас в дорожную карету, друзьями вам не были!» — говорю я императору.

— Поедем со мной! — воскликнул он. — Игра еще не проиграна!

— Ваше величество, последую за вами с охотой, но не сейчас, потому что на руках у меня ребенок,

---

[15] Примечания: 15

«Он отправился в Рошфор…» — В 1815 г., после поражения под Ватерлоо и отречения, Наполеон отправился в Рошфор и там отдал себя в руки англичан на борту английского военного корабля «Беллерофонт».

потерявший мать, и я собою не располагаю.

Так вот и получилось, что из-за Адриена я не отправился на остров Святой Елены.

— Постой-ка, я ведь тебе никогда ничего не дарил, ты не из тех, у кого глаза завидущие и руки загребущие; возьми-ка эту табакерку, она была при мне в последнем походе. Да оставайся во Франции, ведь ей храбрецы тоже нужны! Служи по-прежнему и обо мне помни. Ты последний из моих египтян, которого мне довелось увидеть живым, покидая Францию.

И он протянул мне небольшую табакерку:

— Выгравируй на ней: «Честь и отчизна», — в словах этих — вся история последних наших двух кампаний.

Тут к нему подошли люди, сопровождавшие его, и мы все утро пробыли вместе. Император шагал взад и вперед по берегу и был спокоен, но порою хмурил лоб. К полудню выяснилось, что отплыть невозможно. Англичане знали, что он в Рошфоре, следовательно — или в плен сдавайся, или снова проходи через всю Францию. Мы были в тревоге. Медленно тянулось время. Наполеон очутился между двух огней: с одной стороны Бурбоны, а они бы сразу его расстреляли, с другой — англичане, а их уважать не за что, никогда

им не смыть позора, которым они покрыли себя, заточив на скалистом острове противника, просившего у них гостеприимства. Кто-то из свиты представил ему в этой суматохе капитана Доре, моряка, предлагавшего устроить ему побег в Америку. В самом деле, в порту стоял американский бриг и торговое судно.

— А как же вы, капитан, думаете это сделать? — спросил его император.

— А вот как, ваше величество, — ответил моряк, — вы сядете на торговый корабль, а я с людьми, преданными вам, поплыву на бриге под белым флагом. Мы возьмем на абордаж английское судно, подожжем его, взорвемся, а вы тем временем проскочите мимо.

— И мы отправимся с вами! — крикнул я капитану.

Наполеон посмотрел на нас и произнес:

— Капитан Доре, вы нужны Франции.

Первый раз в жизни я видел Наполеона растроганным. Он махнул нам на прощанье рукой и вернулся к себе. Я уехал, когда он причаливал к английскому судну. Он знал, что идет на верную гибель. В порту оказался предатель и сигналами сообщил врагам о том, что император здесь. И вот Наполеон попытал последнее средство: поступил

так, как поступал всегда на поле битвы, — пошел на врага, не ожидая, чтобы враг пошел на него. Вот вы рассказывали о своем горе, да что может сравниться с отчаянием тех, кто боготворил его.

— Ну, а где же его табакерка? — спросила девушка.

— В Гренобле, я храню ее в шкатулке, — ответил офицер.

— Позвольте мне приехать, взглянуть на нее. Даже не верится, что у вас есть вещь, к которой он прикасался! А руки у него были красивые?

— Очень красивые.

— А верно, что он умер? — снова спросила девушка. — Вы правду скажите.

— Да, разумеется, душенька, он умер.

— Я совсем еще крошкой была в тысяча восемьсот пятнадцатом году, только его шляпу и разглядела, к тому же меня чуть не раздавила толпа в Гренобле.

— Кофе превосходный, — заметил Женеста. — Ну как, Адриен, тебе здесь нравится? Будешь навещать нашу хозяюшку?

Адриен не ответил, девушка его смущала, и он на нее не смотрел. Врач все время наблюдал за юношей и словно читал в его душе.

— Конечно, будет навещать, — сказал Бенаси. —

Однако ж пора домой; мне придется совершить верхом довольно долгое путешествие. А пока меня не будет, вы обо всем столкуетесь с Жакотой.

— Вы нас не проводите? — спросил Женеста у девушки.

— С удовольствием, кстати, мне нужно кое-что снести Жакоте, — ответила она.

Они отправились к дому врача, и девушка, повеселевшая в обществе гостей, повела их горными козьими тропками по самым пустынным местам.

— Господин офицер, — заговорила она, помолчав, — о себе-то вы ничего не рассказали, а мне хотелось бы послушать о каком-нибудь вашем приключении на войне. Очень мне понравился рассказ про Наполеона, но на душе стало тяжело… Уж будьте так любезны…

— Она права! — поддержал ее Бенаси. — Придется вам по дороге рассказать о каком-нибудь занимательном похождении. Припомните что-нибудь любопытное, вроде случая в овине у Березины.

— Воспоминаний у меня маловато, — отвечал Женеста. — С другими людьми чего только не случается, а мне не приходилось быть героем какого-нибудь приключения. Постойте, разок

все-таки вышла презабавная история. В тысяча восемьсот пятом году я, в то время всего-навсего младший лейтенант, вместе со всею великой армией очутился под Аустерлицем. Ульм взяли не сразу, разыгралось не одно сражение, и кавалерия крепко атаковала врага. Служил я тогда под командованием Мюрата, а он уж никому спуска не давал. В начале кампании мы завладели местностью, где было немало превосходных имений. Как-то вечером мой полк расположился в парке, разбитом вокруг красивого замка, которым владела молоденькая и хорошенькая женщина — графиня; я-то, разумеется, намерен был устроиться в самом замке и поспешил туда, чтобы мои ребята не вздумали его разграбить. Вхожу в гостиную и вижу: мой унтер-офицер, ужаснейший урод, прицелившись из ружья в графиню, грубо требует у нее того, на что она никак не могла согласиться; я взмахиваю саблей, вышибаю из его рук карабин, пуля попадает в зеркало; наотмашь ударяю грубияна, и он падает. На крик графини и на выстрел сбежались все ее прислужники и вот-вот набросятся на меня.

— Стойте, — говорит она им по-немецки, — этот офицер — мой спаситель.

Ну-с, они уходят. Дамочка дарит мне плато-

чек, красивый вышитый платочек, который я и сейчас берегу, уверяет, что в ее имении я всегда найду приют и что, какие бы напасти со мною не стряслись, она всегда придет мне на помощь, как сестра и верный друг, — словом, пускает в ход все свои чары. А хороша она была, как ясная зорька, мила, как кошечка. Пообедали мы вместе. На следующий день я был от нее без ума; но на следующий же день пришлось идти на передовую, помнится — в Гунцбург, и я тронулся в путь, унося платочек. Завязывается битва, а я твержу одно: «Хоть бы в меня попало! Господи, сколько пуль пролетает, неужто для меня не найдется ни одной?» Но я не хотел, чтобы меня ранило в бедро, ни за что не вернулся бы я тогда в замок. Не то чтобы мне жизнь опостылела — просто я размечтался, что ранят меня в руку, что перевязывать и холить меня будет моя королева. И я кидался на врага, как одержимый. Да не повезло — вышел из дела целым и невредимым. Поход продолжался, и пришлось позабыть о графине. Вот и весь сказ.

Когда они дошли до дома врача, Бенаси немедля вскочил на лошадь и исчез. К его возвращению Жакота, которой Женеста поручил сына, уже завладела Адриеном, поспешила поместить его в парадной комнате господина Гравье и оторопела

от удивления, когда врач распорядился, чтобы для юноши была поставлена складная кровать в его спальне; сказал он это таким повелительным тоном, что Жакота не посмела и рта раскрыть для возражения. После обеда Бенаси вновь заверил офицера, что юноша быстро восстановит силы, и Женеста с легкой душой отправился в обратный путь — в Гренобль.

Восемь месяцев прошло с того дня, когда Женеста поручил своего приемного сына доктору Бенаси. И вот в первых числах декабря Женеста был произведен в подполковники и получил приказ о переводе в полк, стоявший в Пуатье. Только он собрался известить о своем отъезде Бенаси, как от него пришло письмо, в котором врач сообщал о полном выздоровлении Адриена.

> «Мальчик вырос, возмужал, чувствует себя превосходно, – писал ему друг. – За это время он так хорошо усвоил уроки Бютифе, что из него вышел отличный стрелок, не хуже нашего контрабандиста; он ловок и подвижен, неутомимый ходок, неутомимый наездник. Его не узнать. Шестнадцатилетнему юноше теперь дашь лет двадцать, а ведь недавно

он казался двенадцатилетним. Вид у него уверенный, независимый. Он стал взрослым человеком, вам должно подумать о его будущем».

«Завтра непременно навещу Бенаси, посоветуюсь, чем бы мне занять молодца», — решил Женеста и отправился на прощальный ужин, который давали в его честь полковые офицеры, потому что через несколько дней он собирался уехать из Гренобля.

Когда подполковник вернулся, слуга вручил ему письмо, принесенное нарочным, уже давным-давно ждавшим ответа. У Женеста изрядно кружилась голова от вина, которое он выпил, отвечая на тосты, произнесенные офицерами в его честь, но он тотчас же узнал почерк сына, решил, что Адриен просит исполнить какую-нибудь его мальчишескую прихоть, положил письмо на стол и только утром, когда развеялись пары шампанского, распечатал его.

«Дорогой папенька!»

«Хитер у меня мальчишка, — подумал Женеста, — умеет подластиться, когда нужно!»

Но тут в глаза ему бросились слова:

«…Умер наш добрый господин Бенаси…»

Письмо выпало из рук Женеста, и он не сразу стал читать дальше.

«Смерть его повергла в горе весь край и поразила нас неожиданностью – господин Бенаси накануне был совсем здоров и ни на что не жаловался. Позавчера, словно предчувствуя свою кончину, он посетил всех больных, даже тех, кто живет очень далеко, со всеми, кого встречал, разговаривал и всем говорил: «Прощайте, друзья». Воротился он, как у нас было заведено, к обеду, к пяти часам. Жакота заметила, что в лице у него появился багровый оттенок; было холодно, и она не сделала ему ножную ванну, которую всегда заставляла его принимать, когда видела, что у него к голове прилила кровь. И теперь бедняжка уже два дня плачет и твердит одно: «Кабы сделала я ему ножную ванну, он бы жив был!» Господин Бенаси проголодался, плотно поел и был даже веселее, чем всегда. Мы много смеялись, я никогда не видел, чтобы он

так смеялся. После обеда, часов в семь, пришел кто-то из Сен-Лоран-де-Пона – срочно звать его к больному. Господин Бенаси сказал мне: «Ничего не поделаешь, надо отправляться. Правда, мне вредно ездить верхом, пока не закончилось пищеварение, особенно в холодную погоду, – так и умереть недолго». И все же он поехал. Часов в девять почтарь Гогла принес какое-то письмо. Жакота в тот день устала от стирки и легла спать – она отдала мне письмо и попросила вскипятить чай для господина Бенаси на огне в камине, потому что я по-прежнему спал у него в комнате на узенькой складной кровати. Я загасил свет в гостиной и поднялся наверх, чтобы подождать моего дорогого друга в нашей спальне. Прежде чем положить письмо на камин, я из любопытства посмотрел на штемпель и почерк. Письмо было из Парижа, и мне показалось, что адрес выведен женской рукой. Рассказываю я вам обо всем этом, потому что письмо сыграло роковую роль. Часам к десяти застучали подковы и раздался голос господина Бенаси, го-

ворившего Николю: «Холод лютый; мне что-то нездоровится». – «Не разбудить ли Жакоту?» – спросил Николь. «Нет, не надо». И доктор поднялся к нам в комнату. «Я приготовил вам чай», – сказал я. «Спасибо, Адриен», – ответил он с улыбкой, которая вам хорошо знакома. Это была его последняя улыбка. Вот он развязывает галстук, будто ему теснит горло, говорит: «У нас душно!» – и кидается в кресло. «Дорогой друг, пришло письмо для вас. Возьмите», – говорю я. Он берет письмо, видит почерк и восклицает: «Господи! Неужели же она свободна!» Тут он запрокинул голову, руки у него задрожали. Он переставил свечу на стол и распечатал письмо. Меня поразило, что господин Бенаси так разволновался, и я не отрываясь смотрел на него, пока он читал. Вдруг я увидел, что его лицо вспыхнуло, он зарыдал и упал ничком. Я поднял дорогого друга, лицо его побагровело. «Умираю», – произнес он, задыхаясь, и с невероятным усилием попытался встать. «Кровь пустите!» – крикнул он, сжимая мне руку… «Сожгите письмо, Адриен!»

Он протянул мне письмо, и я бросил его в огонь. Зову Жакоту и Николя, но слышит меня один Николь, он прибегает, мы вместе укладываем господина Бенаси на мою кровать, на мой жесткий матрац. Наш дорогой друг уже ничего не слышал! И хоть он открывал глаза, но уже не видел ничего. Николь поскакал верхом за фельдшером – господином Бордье и поднял тревогу в селении. Тотчас же все были на ногах. Господин Жанвье, господин Дюфо – ваши знакомые – прибежали первыми. Господин Бенаси умирал, и ничего нельзя было сделать. Господин Бордье прижег ему пятки, но наш друг не подал и признака жизни. Приступ подагры и кровоизлияние в мозг унесли нашего друга. Описываю все подробно потому, что знаю, дорогой папенька, как вы любите господина Бенаси. А какое это для меня горе, какая утрата! Ведь, кроме вас, никого я не любил так сильно, как его. Я больше узнал, разговаривая по вечерам с добрым господином Бенаси, чем из всей своей усердной зубрежки в лицее. Когда на следующее утро в селении стало из-

вестно, что он скончался, началось нечто невообразимое. Двор и сад наполнились народом. Все рыдали и причитали, все побросали работу, каждый вспоминал, что сказал ему в последний раз господин Бенаси; люди рассказывали, сколько добра сделал им доктор Бенаси; те, кто был поспокойнее, говорили за других; толпа все прибывала, каждому хотелось его увидеть. Быстро разнеслась печальная весть – изо всех окрестных селений шли сюда люди, подавленные горем: мужчины, женщины, девушки и юноши. Гроб несли в церковь четыре самых престарелых жителя общины, но похоронная процессия все время останавливалась, потому что на дороге скопилась толпа тысяч в пять человек; почти все стояли на коленях, как во время крестного хода. Церковь всех не вместила. Началась служба, и тотчас же смолкли рыдания, воцарилась такая глубокая тишина, что звон колокольчика и пение слышны были и в конце улицы. Но когда пришло время отнести тело на новое кладбище, которое бедный господин Бенаси устроил

для селения на своей земле, не подозревая, что его там похоронят первым, со всех сторон раздались громкие стенания. Господин Жанвье, рыдая, читал молитвы, и у всех слезы катились из глаз. И вот мы похоронили его. Вечером толпа рассеялась, все разошлись по домам в печали и тоске. На следующий день, с утра, Гондрен, Гогла, Бютифе, полевой сторож и еще много людей принялись за работу: там, где покоится прах господина Бенаси, воздвигнута земляная пирамида высотою футов в двадцать, ее обкладывают дерном, все принимают участие в работе! Вот что, любезный папенька, произошло у нас за эти три дня. Господин Дюфо нашел в ящике стола незапечатанное завещание господина Бенаси. Наш дорогой друг распорядился своим состоянием так, что любовь к нему и глубокая скорбь о его смерти усилились, ежели это возможно. А теперь, дорогой папенька, я жду с Бютифе, который отнесет вам мое письмо, ответа и указаний, как мне вести себя. Вы ли за мной приедете или мне ехать к вам, в Гренобль? Как вам будет угодно, так я

и поступлю, и будьте уверены в полном моем послушании.

Прощайте, папенька, шлю вам лучшие свои пожелания.

Любящий вас сын Адриен Женеста».

— Надо ехать! — воскликнул Женеста.

Он приказал оседлать лошадь и пустился в путь. Стояло унылое декабрьское утро, пасмурное утро, когда сероватая мгла застилает небо, когда ветру не рассеять тумана, окутавшего обнаженные деревья и дома, потемневшие от сырости, утратившие обычный свой облик. Тишина стояла безжизненная, ибо ведь бывает тишина, насыщенная жизнью. В ясную погоду малейший шорох веселит душу, в ненастье природа не только безмолвна, она — нема. Туман, цепляясь за деревья, собирался в капли, и они медленно, будто слезы, катились по листьям. Звуки замирали в воздухе. Чувства подполковника Женеста, удрученного скорбью и мыслями о смерти, были созвучны печали, разлитой вокруг. Невольно сравнивал он то, что видел, проезжая в первый раз по этой долине, — прекрасное весеннее небо и пленявшие взор ландшафты, с картиной, сейчас открывавшейся перед ним:

с унылым свинцово-серым небом, с горами, сбросившими зеленый наряд, но еще не надевшими снежных одеяний, в которых есть своя прелесть. Тягостно смотреть на обнаженную землю тому, кто едет посетить могилу, — могильный холм мерещится ему повсюду. Темные ели, то тут, то там возвышавшиеся на гребнях гор, углубляли тоску, и без того угнетавшую офицера, а стоило ему охватить взглядом долину, раскинувшуюся перед ним, как он невольно начинал думать о том, какое горе поразило весь кантон и как стало здесь пусто после смерти одного лишь человека. Вскоре подполковник подъехал к той убогой лачуге, где воспитывались приютские дети и где он весной пил молоко. Увидев, что над трубой вьется дымок, он подумал о благодетельном влиянии Бенаси, и ему захотелось войти в эту хижину и в память умершего друга дать денег бедной женщине. Он привязал лошадь к дереву и, не постучав, отворил дверь.

— Здравствуйте, тетушка, — сказал он женщине, гревшейся у очага, среди детей, примостившихся около нее. — Узнаете?

— Да как не узнать, сударь. Вы приезжали весенней порой, два экю мне подарили.

— Вот, возьмите-ка. Это вам и детям.

— Как благодарить-то вас, сударь! Да сохранит вас Господь.

— Не меня благодарить надо за эти деньги, а покойного доктора Бенаси.

Женщина подняла голову и взглянула на Женеста.

— Ах, сударь, хоть он и отдал все свое имущество нашему бедному краю и все мы — его наследники, а все же мы потеряли самое большое наше богатство, потому что он для нас старался…

— Прощайте, тетушка, молитесь за него, — сказал Женеста, ласково похлопав хлыстом малышей.

Ребята и их приемная мать проводили его; он вскочил на лошадь и поехал дальше. Вот от дороги, проложенной вдоль долины, отошла тропа, ведущая к домику Могильщицы. Офицер поднялся на холм, откуда виднелся домик, и с тревогой обнаружил, что двери и ставни затворены; свернув на большую дорогу, обсаженную тополями, с которых облетели все листья, он увидел, что ему навстречу бредет старик работник, без котомки с инструментами, одетый, вероятно, в лучшую свою одежду.

— Доброго здоровья, дедушка Моро!

— И вам доброго здоровья, сударь. Узнаю,

узнаю, — прибавил он, помолчав, — вы — друг покойного господина мэра. Ах, сударь, почему милосердный бог не прибрал вместо него бедного калеку вроде меня? Какая от меня польза? А он ведь был нашим утешителем.

— Не знаете, отчего пусто в доме у Могильщицы?

Старик взглянул на небо и спросил:

— А который час, сударь? Солнца-то не видать.

— Сейчас десять.

— Ну, значит, она у обедни или на кладбище. Каждый день туда ходит; он-то наследство ей оставил: ренту в пятьсот франков и дом в пожизненное владение, да только не на радость ей — не стало его, и она, прямо сказать, рехнулась.

— Куда же, дедушка, путь держите?

— На похороны Жака, бедный мальчишка племянником мне доводился. Вчера утром умер. Да ведь какой хворый был; его только наш дорогой доктор и поддерживал. Молодые, а помирают, — прибавил Моро полужалобно, полунасмешливо.

Подъезжая к селению, Женеста остановил лошадь, увидев Гондрена и Гогла, вооруженных заступами и кирками.

— Ну, старые вояки, — сказал он, — свалилась на нас беда, не стало его!

— Хватит, хватит, господин офицер! — сумрачно прервал его Гогла. — Сами про это знаем. Вот нарезали дерна для его могилы.

— Про него есть что порассказать, верно ведь? — сказал Женеста.

— Да, ежели отбросить дела военные, он — Наполеон нашей долины, — ответил Гогла.

Женеста подъехал к церковному дому и тотчас же заметил на пороге Бютифе и Адриена, говоривших с Жанвье, который, очевидно, только что отслужил обедню. Не успел офицер спрыгнуть с лошади, как Бютифе взял ее под уздцы. Адриен же бросился на шею отцу, которого глубоко тронула сыновняя ласка. Однако офицер скрыл свои чувства и сказал юноше:

— Да ты совсем поправился, Адриен! Ей-богу! Спасибо нашему покойному другу — ты стал настоящим мужчиной! Не забуду я и твоего наставника Бютифе.

— Эх, полковник, — воскликнул Бютифе, — взяли бы вы меня к себе в полк. Право же, вот умер господин мэр, и я теперь сам себя боюсь. Ведь он так хотел, чтобы я стал солдатом. Надо исполнить его волю. Он все рассказал вам про меня — будьте же ко мне снисходительны!

— Идет, дружище, — сказал Женеста, пожимая

ему руку. — Будь спокоен, я постараюсь, чтобы тебя зачислили в наш полк. Вот какие дела, господин кюре…

— Я скорблю, как все жители кантона, но живее, нежели они, чувствую, какую непоправимую утрату мы понесли. Доктор Бенаси был сущим ангелом! Одно утешение, что он умер без страданий. Господь милосердной рукою развязал узы его жизни, служившей для всех нас неиссякаемым источником благодеяний.

— Ежели вам нетрудно, проводите меня на кладбище. Мне хотелось бы хоть на могиле у него побывать, попрощаться с ним.

Бютифе и Адриен шли позади Женеста и кюре, которые всю дорогу беседовали. Они пересекли селение, направляясь к маленькому озеру, и подполковник увидел на противоположном берегу, на скалистом склоне горы обширный участок, обнесенный стеной.

— Вот и кладбище, — сказал ему кюре. — Месяца три назад господин Бенаси нашел, что не место погостам близ церквей, и, следуя закону, предписывающему устраивать кладбища поодаль от жилья, передал для этой цели свой собственный участок в дар общине; он похоронен там первым. Сегодня мы похоронили там отрока. Итак,

начали мы с того, что погребли добродетель и невинность. Неужели смерть — воздаяние? Быть может, Бог в назидание нам призвал к себе две безгрешных души, ибо у него находят прибежище те, кто в юном возрасте претерпели телесные муки, а в более зрелом — муки духовные. Вот и простой сельский памятник, который мы ему воздвигли.

Женеста увидел земляную пирамиду футов в двадцать вышиною, еще оголенную, но по граням ее уже кое-где зеленел дерн, принесенный жителями. У подножия огромного креста, сколоченного из еловых стволов, покрытых корою, на камне сидела Могильщица и плакала навзрыд, закрыв лицо руками. Офицер прочел слова, вырезанные большими буквами на кресте:

ГОСПОДИ, ПРИМИ ЕГО ДУШУ!
ПОД СИМ КРЕСТОМ
ПОКОИТСЯ ДОБРЫЙ ГОСПОДИН БЕНАСИ,
ВСЕМ НАМ ОТЕЦ.
МОЛИТЕСЬ ЗА НЕГО!

— Вы придумали эту надпись или же… — спросил Женеста.

— Нет, не я, эти слова повторяет народ повсюду:

и здесь, и в горных кантонах, и в Гренобле.

Женеста в сосредоточенном молчании постоял у могилы, потом подошел к девушке, которая даже не заметила его, и сказал, обращаясь к кюре:

— Вот выйду на пенсию и поселюсь у вас, чтобы здесь окончить свои дни.

Октябрь 1832 г. – июнь 1833 г.